

**П. Я. Чаадаев.**

# *Апология сумасшедшего*

*О мои братья! Я сказал много горьких истин, но без всякой горечи [1].*

**Кольридж**

Милосердие, говорит ап. Павел, все терпит, всему верит, все переносит [2]: итак, будем все терпеть, все переносить, всему верить, будем милосердны. Но прежде всего, катастрофа, только что столь необычайным образом исказившая наше духовное существование и кинувшая на ветер труд целой жизни, является в действительности лишь результатом того зловещего крика, который раздался среди известной части общества при появлении нашей статьи, едкой, если угодно, но конечно вовсе не заслуживавшей тех криков, какими ее встретили. В сущности, правительство только исполнило свой долг; можно даже сказать, что в мерах строгости, применяемых к нам сейчас, нет ничего чудовищного, так как они, без сомнения, далеко не превзошли ожиданий значительного круга лиц. В самом деле, что еще может делать правительство, одушевленное самыми лучшими намерениями, как не следовать тому, что оно искренно считает серьезным желаньем страны? Совсем другое дело — вопли общества. Есть разные способы любить свое отечество; например, самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он, скорчившись, проводит половину своей жизни, и прогорклый олений жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою страну конечно иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова; и без сомнения, было бы прискорбно для нас, если бы нам все еще приходилось любить места, где мы родились, на манер самоедов. Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к Божеству. Не через родину, а через истину ведет путь на небо. Правда, мы, русские, всегда мало интересовались тем, что — истина и что — ложь, поэтому нельзя и сердиться на общество, если несколько язвительная филиппика против его немощей задела его за живое. И потому; смею уверить, во мне нет и тени злобы против этой милой публики, которая так долго и так коварно ласкала меня: я хладнокровно, без всякого раздражения, стараюсь отдать себе отчет в моем странном положении. Не естественно ли, скажите, чтобы я постарался уяснить по мере сил, в каком отношении к себе подобным, своим согражданам и своему Богу стоит человек, пораженный безумием по приговору высшей юрисдикции страны? Я никогда не добивался народных рукоплесканий, не искал милостей толпы; я всегда думал, что род человеческий должен следовать только за своими естественными вождями, помазанниками Бога, что он может подвигаться вперед по пути своего истинного прогресса только под руководством тех, кто тем или другим образом получил от самого неба назначение и силу вести его; что общее мнение отнюдь не тождественно с безусловным разумом, как думал один великий писатель нашего

времени; что инстинкты масс бесконечно более страстны, более узки и эгоистичны, чем инстинкты отдельного человека, что так называемый здравый смысл народа вовсе не есть здравый смысл; что не в людской толпе рождается истина; что ее нельзя выразить числом; наконец, что во всем своем могуществе и блеске человеческое сознание всегда обнаруживалось только в одиноком уме, который является центром и солнцем его сферы. Как же случилось, что в один прекрасный день я очутился перед разгневанной публикой, — публикой, чьих похвал я никогда не добивался, чьи ласки никогда не тешили меня, чьи прихоти меня не задевали? Как случилось, что мысль, обращенная не к моему веку, которую я, не желая иметь дело с людьми нашего времени, в глубине моего сознания завещал грядущим поколениям, лучше осведомленным, — при той гласности в тесном кругу, которую эта мысль приобрела уже издавна, как случилось, что она разбила свои оковы, бежала из своего монастыря и бросилась на улицу, вприпрыжку среди остолбенелой толпы? Этого я не в состоянии объяснить. Но вот что я могу утверждать с полной уверенностью. Уже триста лет Россия стремится слиться с Западной Европой, заимствует оттуда все наиболее серьезные свои идеи, наиболее плодотворные свои познания и свои живейшие наслаждения. Но вот уже век и более, как она не ограничивается и этим. Величайший из наших царей, тот, который, по общепринятому мнению, начал для нас новую эру, которому, как все говорят, мы обязаны нашим величием, нашей славой и всеми благами, какими мы теперь обладаем, полтора столетия назад пред лицом всего мира отсекся от старой России. Своим могучим дуновением он смёл все наши учреждения; он вырыл пропасть между нашим прошлым и нашим настоящим и грудой бросил туда все наши предания. Он сам пошел в страны Запада и стал там самым малым, а к нам вернулся самым великим; он преклонился пред Западом и встал нашим господином и законодателем. Он ввел в наш язык западные речения; свою новую столицу он назвал западным именем; он отбросил свой наследственный титул и принял титул западный; наконец, он почти отказался от своего собственного имени и не раз подписывал свои державные решения западным именем. С этого времени мы только и делали, что, не сводя глаз с Запада, так сказать, вбирали в себя веяния, приходившие к нам оттуда, и питались ими. Должно сказать, что наши государи, которые почти всегда вели нас за руку, которые почти всегда тащили страну на буксире без всякого участия самой страны, сами заставили нас принять нравы, язык и одежду Запада. Из западных книг мы научились произносить по складам имена вещей. Нашей собственной истории научила нас одна из западных стран; мы целиком перевели западную литературу, выучили ее наизусть, нарядились в ее лоскутья и наконец стали счастливы, что походим на Запад, и гордились, когда он снисходительно соглашался причислять нас к своим. Надо сознаться — оно было прекрасно, это создание Петра Великого, эта могучая мысль, овладевшая нами и толкнувшая нас на тот путь, который нам суждено было пройти с таким блеском. Глубоко было его слово, обращенное к нам: "Видите ли там эту цивилизацию, плод стольких трудов, — эти науки и искусства, стоившие таких усилий стольким поколениям! все это ваше при том условии, чтобы вы отказались от ваших предрассудков, не охраняли ревниво вашего варварского прошлого и не кичились веками вашего невежества, но целью своего честолюбия поставили единственно усвоение трудов, совершенных всеми народами, богатств, добытых человеческим разумом под всеми широтами земного шара". И не для своей только нации работал великий человек. Эти люди, отмеченные Провидением, всегда посылаются для всего человечества. Сначала их присваивает один народ, затем их поглощает все человечество, подобно тому, как большая река, оплодотворив обширные

пространства, несет затем свои воды в дань океану. Чем иным, как не новым усилием человеческого гения выйти из тесной ограды родной страны, чтобы занять место на широкой арене человечества, было зрелище, которое он явил миру, когда, оставив царский сан и свою страну, он скрылся и последних рядах цивилизованных народов? Таков был урок, который мы должны были усвоить; мы действительно воспользовались им и до сего дня шли по пути, который предначертал нам великий император. Наше громадное развитие есть только осуществление этой великолепной программы. Никогда ни один народ не был менее пристрастен к самому себе, нежели русский народ, каким воспитал его Петр Великий, и ни один народ не достиг также более славных успехов на поприще прогресса. Высокий ум этого необыкновенного человека безошибочно угадал, какова должна быть наша современная точка на пути цивилизации и всемирного умственного движения. Он видел, что, за полным почти отсутствием у нас исторических данных, мы не можем утвердить наше будущее на этой бессильной основе; он хорошо понял, что, стоя лицом к лицу со старой европейской цивилизацией, которая является последним выражением всех прежних цивилизаций, нам незачем задыхаться в нашей истории и незачем тащиться, подобно западным народам, чрез хаос национальных предрассудков, по узким тропинкам местных идей, по изрытым колеям туземной традиции, что мы должны свободным порывом наших внутренних сил, энергическим усилием национального сознания овладеть предназначенной нам судьбой. И вот он освободил нас от всех этих пережитков прошлого, которые загромождают быт исторических обществ и затрудняют их движение; он открыл наш ум всем великим и прекрасным идеям, какие существуют среди людей; он передал нам Запад сполна, каким его сделали века, и дал нам всю его историю за историю, все его будущее за будущее. Неужели вы думаете, что, если бы он нашел у своего народа богатую и плодотворную историю, живые предания и глубоко укоренившиеся учреждения, он не поколебался бы кинуть его в новую форму? Неужели вы думаете, что будь пред ним резко очерченная, ярко выраженная народность, инстинкт организатора не заставил бы его, напротив, обратиться к этой самой народности за средствами, необходимыми для возрождения его страны? И, с другой стороны, позволила ли бы страна, чтобы у нее отняли ее прошлое и, так сказать, навязали ей прошлое Европы? Но ничего этого не было. Петр Великий нашел у себя дома только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова Европа и Запад; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться: как бы велик ни был гений этого человека и необычайная энергия его воли, то, что он сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не указывало властно того пути, по которому она должна была двигаться, чьи традиции были бессильны создать ее будущее, чьи воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно. Если мы оказались так послушны голосу государя, звавшего нас к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в нашем прошлом не было ничего, что могло бы оправдать сопротивление. Самой глубокой чертой нашего исторического облика является отсутствие свободного почину в нашем социальном развитии. Присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что каждый важный факт нашей истории пришел извне, каждая новая идея почти всегда заимствована. Но в этом наблюдении нет ничего обидного для национального чувства; если оно верно, его следует принять — вот и все. Есть великие народы, — как и великие исторические личности, — которые нельзя объяснить нормальными законами нашего разума, но которые таинственно определяет верховная логика Провидения: таков именно наш народ; но, повторяю, все это нисколько не касается национальной чести. История всякого народа

представляет собою не только вереницу следующих друг за другом фактов, но и цепь связанных друг с другом идей. Каждый факт должен выражаться идеей; чрез события должна нитью проходить мысль или принцип, стремясь осуществиться: тогда факт не потерян, он провел борозду в умах, запечатлелся в сердцах, и никакая сила в мире не может изгнать его оттуда. Эту историю создает не историк, а сила вещей. Историк приходит, находит ее готовою и рассказывает ее; но придет он или нет, она все равно существует, и каждый член исторической семьи, как бы ни был он незаметен и ничтожен, носит ее в глубине своего существа. Именно этой истории мы и не имеем. Мы должны привыкнуть обходиться без нее, а не побивать камнями тех, кто первый подметил это. Возможно, конечно, что наши фанатические славяне при их разнообразных поисках будут время от времени откапывать диковинки для наших музеев и библиотек; но, по моему мнению, позволительно сомневаться, чтобы им удалось когда-нибудь извлечь из нашей исторической почвы нечто такое, что могло бы заполнить пустоту наших душ и дать плотность нашему расплывчатому сознанию. Взгляните на средневековую Европу: там нет события, которое не было бы в некотором смысле безусловной необходимостью и которое не оставило бы глубоких следов в сердце человечества. А почему? Потому что за каждым событием вы находите там идею, потому что средневековая история — это история мысли нового времени, стремящейся воплотиться в искусстве, науке, в личной жизни и в обществе. И оттого — сколько борозд провела эта история в сознании людей, как разрыхлила она ту почву, на которой действует человеческий ум! Я хорошо знаю, что не всякая история развивалась так строго и логически, как история этой удивительной эпохи, когда под властью единого верховного начала созидалось христианское общество; тем не менее несомненно, что именно таков истинный характер исторического развития одного ли народа или целой семьи народов и что нации, лишенные подобного прошлого, должны смиренно искать элементов своего дальнейшего прогресса не в своей истории, не в своей памяти, а в чем-нибудь другом. С жизнью народов бывает почти то же, что с жизнью отдельных людей. Всякий человек живет, но только человек гениальный или поставленный в какие-нибудь особенные условия имеет настоящую историю. Пусть, например, какой-нибудь народ, благодаря стечению обстоятельств, не им созданных, в силу географического положения, не им выбранного, расселится на громадном пространстве, не сознавая того, что делает, и в один прекрасный день окажется могущественным народом: это будет, конечно, изумительное явление, и ему можно удивляться сколько угодно: но что, вы думаете, может сказать о нем история? Ведь, в сущности, это — не что иное, как факт чисто материальный, так сказать географический, правда, в огромных размерах, но и только. История запомнит его, занесет в свою летопись, потом перевернет страницу, и тем все кончится. Настоящая история этого народа начнется лишь с того дня, когда он проникнется идеей, которая ему доверена и которую он призван осуществить, и когда начнет выполнять ее с тем настойчивым, хотя и скрытым, инстинктом, который ведет народы к их предназначению. Вот момент, который я всеми силами моего сердца призываю для моей родины, вот какую задачу я хотел бы, чтобы вы взяли на себя, мои милые друзья и сограждане, живущие в век высокой образованности и только что так хорошо показавшие мне, как ярко пылает в вас святая любовь к отечеству. Мир искони делился на две части — Восток и Запад. Это не только географическое деление, но также и порядок вещей, обусловленный самой природой разумного существа: это — два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, обнимающие весь жизненный строй человеческого рода. Сосредоточиваясь, углубляясь, замыкаясь в

самом себе, созидался человеческий ум на Востоке; раскидываясь вовне, излучаясь во все стороны, борясь со всеми препятствиями, развивается он на Западе. По этим первоначальным данным естественно сложилось общество. На Востоке мысль, углубившись в самое себя, уйдя в тишину, скрывшись в пустыню, предоставила общественной власти распоряжение всеми благами земли; на Западе идея, всюду кидаясь, вступаясь за все нужды человека, алкая счастья во всех его видах, основала власть на принципе права; тем не менее и в той, и в другой сфере жизнь была сильна и плодотворна; там и здесь человеческий разум не имел недостатка в высоких вдохновениях, глубоких мыслях и возвышенных созданиях. Первым выступил Восток и излил на землю потоки света из глубины своего уединенного созерцания; затем пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельностью, своим живым словом и всемогущ<sup>1</sup> анализом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, поглотил его в своем широком охвате. Но на Востоке покорные умы, коленопреклоненные пред историческим авторитетом, истощились в безропотном служении священному для них принципу и в конце концов уснули, замкнутые в своем неподвижном синтезе, не догадываясь о новых судьбах, которые готовились для них; между тем на Западе они шли гордо и свободно, преклоняясь только пред авторитетом разума и неба, останавливаясь только пред неизвестным, непрестанно устремив взор в безграничное будущее. И здесь они еще идут вперед, — вы это знаете; и вы знаете также, что со времени Петра Великого и мы думали, что идем вместе с ними. Но вот является новая школа. Больше не нужно Запада, надо разрушить создание Петра Великого, надо снова уйти в пустыню. Забыв о том, что сделал для нас Запад, не зная благодарности к великому человеку, который нас цивилизовал, и к Европе, которая нас обучила, они отвергают и Европу, и великого человека, и в пылу увлечения этот новоиспеченный патриотизм уже спешит провозгласить нас любимыми детьми Востока. Какая нам нужда, говорят они, искать просвещения у народов Запада? Разве у нас самих не было всех зачатков социального строя неизмеримо лучшего, нежели европейский? Почему не выждали действия времени? Предоставленные самим себе, нашему светлому уму, плодотворному началу, скрытому в недрах нашей мощной природы, и особенно нашей святой вере, мы скоро опередили бы все эти народы, преданные заблуждению и лжи. Да и чему нам было завидовать на Западе? Его религиозным войнам, его папству, рыцарству, инквизиции? Прекрасные вещи, нечего сказать! Запад ли родина науки и всех глубоких вещей? Нет — как известно, Восток. Итак, удалимся на этот Восток, которого мы всюду касаемся, откуда мы не так давно получили наши верования, законы, добродетели, словом, все, что сделало нас самым могущественным народом на земле. Старый Восток сходит со сцены: не мы ли его естественные наследники? Между нами будут жить отныне эти дивные предания, среди нас осуществятся эти великие и таинственные истины, хранение которых было вверено ему от начала вещей. — Вы понимаете теперь, откуда пришла буря, которая только что разразилась надо мной, и вы видите, что у нас совершается настоящий переворот в национальной мысли, страстная реакция против просвещения, против идей Запада, — против того просвещения и тех идей, которые сделали нас тем, что мы есть, и плодом которых является эта самая реакция, толкающая нас теперь против них. Но на этот раз толчок исходит не сверху. Напротив, в высших слоях общества память нашего державного преобразователя, говорят, никогда не почиталась более, чем теперь. Итак, почин всецело принадлежит стране. Куда приведет нас этот первый акт эмансипированного народного разума? Бог весть! Но кто серьезно любит свою родину, того не может не огорчать глубоко это отступничество наших наиболее

передовых умов от всего, чему мы обязаны нашей славой, нашим величием; и, я думаю, дело честного гражданина — стараться по мере сил оценить это необычайное явление. Мы живем на востоке Европы — это верно, и тем не менее мы никогда не принадлежали к Востоку. У Востока — своя история, не имеющая ничего общего с нашей. Ему присуща, как мы только что видели, плодотворная идея, которая в свое время обусловила громадное развитие разума, которая исполнила свое назначение с удивительной силою, но которой уже не суждено снова проявиться на мировой сцене. Эта идея поставила духовное начало во главу общества; она подчинила все власти одному ненарушимому высшему закону — закону истории; она глубоко разработала систему нравственных иерархий; и хотя она втиснула жизнь в слишком тесные рамки, однако она освободила ее от всякого внешнего воздействия и отметила печатью удивительной глубины. У нас не было ничего подобного. Духовное начало, неизменно подчиненное светскому, никогда не утвердилось на вершине общества; исторический закон, традиция, никогда не получал у нас исключительного господства; жизнь никогда не устраивалась у нас неизменным образом; наконец, нравственной иерархии у нас никогда не было и следа. Мы просто северный народ и по идеям, как и по климату, очень далеки от благоуханной долины Кашмира и священных берегов Ганга. Некоторые из наших областей, правда, граничат с государствами Востока, но наши центры не там, не там наша жизнь, и она никогда там не будет, пока какое-нибудь планетное возмущение не сдвинет с места земную ось или новый геологический переворот опять не бросит южные организмы в полярные льды. Дело в том, что мы еще никогда не рассматривали нашу историю с философской точки зрения. Ни одно из великих событий нашего национального существования не было должным образом характеризовано, ни один из великих переломов нашей истории не был добросовестно оценен; отсюда все эти странные фантазии, все эти ретроспективные утопии, все эти мечты о невозможном будущем, которые волнуют теперь наши патриотические умы. Пятьдесят лет назад немецкие ученые открыли наших летописцев; потом Карамзин рассказал звучным слогом дела и подвиги наших государей; в наши дни плохие писатели, неумелые антиквари и несколько неудавшихся поэтов, не владея ни ученостью немцев, ни пером знаменитого историка, самоуверенно рисуют и воскрешают времена и нравы, которых уже никто у нас не помнит и не любит: таков итог наших трудов по национальной истории. Надо признаться, что из всего этого мудрено извлечь серьезное предчувствие ожидающих нас судеб. Между тем именно в нем теперь все дело; именно эти результаты составляют в настоящее время весь интерес исторических изысканий. Серьезная мысль нашего времени требует прежде всего строгого мышления, добросовестного анализа тех моментов, когда жизнь обнаруживалась у данного народа с большей или меньшей глубиной, когда его социальный принцип проявлялся во всей своей чистоте, ибо в этом — будущее, в этом элементы его возможного прогресса. Если такие моменты редки в вашей истории, если жизнь у вас не была мощной и глубокой, если закон, которому подчинены ваши судьбы, представляет собою не лучезарное начало, окрепшее в ярком свете национальных подвигов, а нечто бледное и тусклое, скрывающееся от солнечного света в подземных сферах вашего социального существования, — не отталкивайте истины, не воображайте, что вы жили жизнью народов исторических, когда на самом деле, похороненные в вашей необъятной гробнице, вы жили только жизнью ископаемых. Но если в этой пустоте вы как-нибудь наткнетесь на момент, когда народ действительно жил, когда его сердце начинало биться по-настоящему, если вы услышите, как шумит и встает вокруг вас народная волна, — о, тогда

остановитесь, размышляйте, изучайте, - ваш труд не будет потерян: вы узнаете, на что способен ваш народ в великие дни, чего он может ждать в будущем. Таков был у нас, например, момент, закончивший страшную драму междуцарствия, когда народ, доведенный до крайности, стыдясь самого себя, издал наконец свой великий сторожевой клич и, сразив врага свободным порывом всех скрытых сил своего существа, поднял на щит благородную фамилию, царствующую теперь над нами: момент беспримерный, которому нельзя достаточно надивиться, особенно если вспомнить пустоту предшествующих веков нашей истории и совершенно особенное положение, в каком находилась страна в эту достопамятную минуту. Отсюда ясно, что я очень далек от приписанного мне требования вычеркнуть все наши воспоминания. Я сказал только и повторяю, что пора бросить ясный взгляд на наше прошлое, и не затем, чтобы извлечь из него старые, истлевшие реликвии, старые идеи, поглощенные временем, старые антипатии, с которыми давно покончил здравый смысл наших государей и самого народа, но для того, чтобы узнать, как мы должны относиться к нашему прошлому. Именно это я и пытался сделать в труде, который остался неоконченным и к которому статья, так странно задевшая наше национальное тщеславие, должна была служить введением. Без сомнения, была нетерпеливость в ее выражениях, резкость в мыслях, но чувство, которым проникнут весь отрывок, несколько не враждебно отечеству: это — глубокое чувство наших немощей, выраженное с болью, с горестью, — и только. Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа; но верно и то, что патриотическое чувство, одушевляющее меня, не совсем похоже на то, чьи крики нарушили мое спокойное существование и снова выбросили в океан людских треволнений мою ладью, приставшую было у подножья креста. Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы. Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия. Тот обнаружил бы, по-моему, глубокое непонимание роли, выпавшей нам на долю, кто стал бы утверждать, что мы обречены кое-как повторять весь длинный ряд безумств, совершенных народами, которые находились в менее благоприятном положении, чем мы, и снова пройти через все бедствия, пережитые ими. Я считаю наше положение счастливым, если только мы сумеем правильно оценить его; я думаю, что большое преимущество иметь возможность созерцать и судить мир со всей высоты мысли, свободной от необузданных страстей и жалких корыстей, которые в других местах мутят взор человека и извращают его суждения. Больше того: у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества. В самом деле, взгляните, что делается в тех странах, которые я, может быть, слишком превознес, но которые тем не менее являются наиболее полными образцами цивилизации во всех ее формах.

Там неоднократно наблюдалось: едва появится на свет Божий новая идея, тотчас все узкие эгоизмы, все ребяческие тщеславия, вся упрямая партийность, которые копошатся на поверхности общества, набрасываются на нее, овладевают ею, выворачивают ее наизнанку, искажают ее, и минутой спустя, размельченная всеми этими факторами, она уносится в те отвлеченные сферы, где исчезает всякая бесплодная пыль. У нас же нет этих страстных интересов, этих готовых мнений, этих установившихся предрассудков; мы девственным умом встречаем каждую новую идею. Ни наши учреждения, представляющие собою свободные создания наших государей или скудные остатки жизненного уклада, вспаханного их всемогущим плугом, ни наши нравы — эта странная смесь неумелого подражания и обрывков давно изжитого социального строя, ни наши мнения, которые все еще тщетно силятся установиться даже в отношении самых незначительных вещей, — ничто не противится немедленному осуществлению всех благ, какие Провидение предназначает человечеству. Стоит лишь какой-нибудь властной воле высказаться среди нас — и все мнения стушевываются, все верования покоряются и все умы открываются новой мысли, которая предложена им. Не знаю, может быть, лучше было бы пройти через все испытания, какими шли остальные христианские народы, и черпать в них, подобно этим народам, новые силы, новую энергию и новые методы; и может быть, наше обособленное положение предохранило бы нас от невзгод, которые сопровождали долгое и многотрудное воспитание этих народов; но несомненно, что сейчас речь идет уже не об этом: теперь нужно стараться лишь постигнуть нынешний характер страны в его готовом виде, каким его сделала сама природа вещей, и извлечь из него всю возможную пользу. Правда, история больше не в нашей власти, но наука нам принадлежит; мы не в состоянии проделать сызнова всю работу человеческого духа, но мы можем принять участие в его дальнейших трудах; прошлое уже нам не подвластно, но будущее зависит от нас. Не подлежит сомнению, что большая часть мира подавлена своими традициями и воспоминаниями: не будем завидовать тесному кругу, в котором он бьется. Несомненно, что большая часть народов носит в своем сердце глубокое чувство завершенной жизни, господствующее над жизнью текущей, упорное воспоминание о протекших днях, наполняющее каждый нынешний день. Оставим их бороться с их неумолимым прошлым. Мы никогда не жили под роковым давлением логики времен; никогда мы не были ввергаемы всемогущею силою в те пропасти, какие века вырывают перед народами. Воспользуемся же огромным преимуществом, в силу которого мы должны повиноваться только голосу просвещенного разума, сознательной воли. Познаем, что для нас не существует непреложной необходимости, что, благодаря небу, мы не стоим на крутой покатоности, увлекающей столько других народов к их неведомым судьбам; что в нашей власти измерять каждый шаг, который мы делаем, обдумывать каждую идею, задевающую наше сознание; что нам позволено надеяться на благоденствие еще более широкое, чем то, о котором мечтают самые пылкие служители прогресса, и что для достижения этих окончательных результатов нам нужен только один властный акт той верховной воли, которая вмещает в себе все воли нации, которая выражает все ее стремления, которая уже не раз открывала ей новые пути, развертывала пред ее глазами новые горизонты и вносила в ее разум новое просвещение. Что же, разве я предлагаю моей родине скудное будущее? Или вы находите, что призываю для нее бесславные судьбы? И это великое будущее, которое, без сомнения, осуществится, эти прекрасные судьбы, которые, без сомнения, исполнятся, будут лишь результатом тех особенных свойств русского народа, которые впервые были указаны в злополучной статье. Во всяком случае,



мне давно хотелось сказать, и я счастлив, что имею теперь случай сделать это признание: да, было преувеличение в этом обвинительном акте, предъявленном великому народу, вся вина которого в конечном итоге сводилась к тому, что он был заброшен на крайнюю грань всех цивилизаций мира, далеко от стран, где естественно должно было накапливаться просвещение, далеко от очагов, откуда оно сияло в течение стольких веков; было преувеличением не признать того, что мы увидели свет на почве, не вспаханной и не оплодотворенной предшествующими поколениями, где ничто не говорило нам о протекших веках, где не было никаких задатков нового мира; было преувеличением не воздать должного этой церкви, столь смиренной, иногда столь героической, которая одна утешает за пустоту наших летописей, которой принадлежит честь каждого мужественного поступка, каждого прекрасного самоотвержения наших отцов, каждой прекрасной страницы нашей истории; наконец, может быть, преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина. Но за всем тем надо согласиться также, что капризы нашей публики удивительны. Вспомним, что вскоре после напечатания злополучной статьи, о которой здесь идет речь, на нашей сцене была разыграна новая пьеса. И вот, никогда ни один народ не был так бичуем, никогда ни одну страну не волочили так в грязи, никогда не бросали в лицо публике столько грубой брани, и, однако, никогда не достигалось более полного успеха. Неужели же серьезный ум, глубоко размышлявший о своей стране, ее истории и характере народа, должен быть осужден на молчание, потому что он не может устами скомороха высказать патриотическое чувство, которое его гнетет? Почему же мы так снисходительны к циническому уроку комедии и столь пугливы по отношению к строгому слову, проникающему в сущность явлений? Надо сознаться, причина в том, что мы имеем пока только патриотические инстинкты. Мы еще очень далеки от сознательного патриотизма старых наций, созревших в умственном труде, просвещенных научным знанием и мышлением; мы любим наше отечество еще на манер тех юных народов, которых еще не тревожила мысль, которые еще отыскивают принадлежащую им идею, еще отыскивают роль, которую они призваны исполнить на мировой сцене; наши умственные силы еще не упражнялись на серьезных вещах; одним словом, до сего дня у нас почти не существовало умственной работы. Мы с изумительной быстротой достигли известного уровня цивилизации, которому справедливо удивляется Европа. Наше могущество держит в трепете мир, наша держава занимает пятую часть земного шара, но всем этим, надо сознаться, мы обязаны только энергичной воле наших государей, которой содействовали физические условия страны, обитаемой нами. Обделанные, отлитые, созданные нашими властителями и нашим климатом, только в силу покорности стали мы великим народом. Просмотрите от начала до конца наши летописи, — вы найдете в них на каждой странице глубокое воздействие власти, непрерывное влияние почвы, и почти никогда не встретите проявлений общественной воли. Но справедливость требует также признать, что, отрекаясь от своей мощи в пользу своих правителей, уступая природе своей страны, русский народ обнаружил высокую мудрость, так как он признал тем высший закон своих судеб: необычный результат двух элементов различного порядка, непризнание которого привело бы к тому, что народ извратил бы свое существо и парализовал бы самый принцип своего естественного развития. Быстрый взгляд, брошенный на нашу историю с точки зрения, на которую мы стали, покажет нам, надеюсь, этот закон во всей его очевидности. Есть один факт, который властно господствует над нашим Историческим движением, который

красною нитью проходит через всю навиу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия: это — факт географический.

[1] В другой редакции для эпиграфа используются евангельские слова: *Adveniat regnum tuum* ("Да приидет царствие твое").

[2] Апостол Павел, Первое послание к Коринфянам (I Кор., XIII, 17).

---

---

## П. Я. Чаадаев

### ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА

#### ПИСЬМО ПЕРВОЕ

#### *Adveniat regnum tuum Да приидет царствие твое[1]*

Сударыня!

Прямодушие и искренность именно те черты, которые я в вас более всего люблю и ценю. Судите же сами, как меня должно было поразить ваше письмо[2]. Эти самые любезные свойства ваши и очаровали меня при нашем знакомстве, они-то и побудили меня заговорить с вами о религии. Все вокруг вас призывало меня к молчанию. Повторяю, посудите каково же было мое удивление при получении вашего письма. Вот все, что я имею вам сказать, сударыня, по поводу выраженных там предположений об оценке мною вашего характера. Не будем говорить более об этом и прямо перейдем к существенной части вашего письма. И, прежде всего, откуда в вашем уме берется это смятение, до того вас волнующее и утомляющее, что оно, по вашим словам, отражается и на здоровье? Неужели это печальное следствие наших бесед? Вместо успокоения и мира, которое должно было бы внести пробужденное в сердце чувство, оно вызвало тревогу, сомнения, чуть ли не угрызения совести. Впрочем, чему удивляться? Это естественное следствие того печального положения вещей, которому подчинены у нас все сердца и все умы. Вы просто поддались действию сил, которые приводят у нас в движение все, начиная с самых высот общества и кончая рабом, существующим лишь для утехи своего владыки. Да и как могли бы вы этому противиться? Те самые свойства, которыми вы выделяетесь из толпы, должны сделать вас тем более подверженной вредному воздействию воздуха, которым вы дышите. Среди всего окружающего вас, могло ли сообщить устойчивость вашим идеям то небольшое, что мне было позволено вам поведать? Мог ли я очистить атмосферу, в которой мы живем? Последствия я должен был предвидеть, да я их и предвидел. Отсюда частые умолчания, мешавшие убеждениям проникнуть вам в душу и вводившие вас, естественно, в заблуждение. И если бы только я не был уверен, что религиозное чувство, пробужденное хотя бы частично в чьем-либо сердце, какие бы оно ни причиняло ему муки, все же лучше полного его усыпления, мне бы пришлось раскаиваться в своем усердии. Тем не менее, я надеюсь, что облака, омрачающие сейчас ваше небо, однажды превратятся в благодатную росу и она оплодотворит семя, брошенное в ваше сердце; и

произведенное на вас действие нескольких ничего не стоящих слов служит мне верной порукой более значительных результатов, их непременно вызовет в будущем работа вашего собственного сознания. Смело ввертесь, сударыня, волнениям, вызываемым в вас мыслями о религии: из этого чистого источника могут вытекать только чистые чувства. По отношению к внешним условиям вам пока достаточно знать, что учение, основанное на высшем начале единства и непосредственной передачи истины в непрерывном преемстве ее служителей, только и может быть самым согласным с подлинным духом религии, потому что дух этот заключается всецело в идее слияния всех, сколько их ни есть в мире, нравственных сил — в одну мысль, в одно чувство и в постепенном установлении социальной системы или церкви, которая должна водворить царство истины среди людей. Всякое иное учение, вследствие одного уже отпадения от учения первоначального, далеко отталкивает от себя возвышенное обращение Спасителя: "Молю тебя, Отче, да будут они одно, как мы одно"[3] и не желает водворения царства божьего на земле. Но отсюда совсем еще не следует, что вы обязаны провозглашать во всеуслышание эту истину перед лицом земли: конечно, не таково ваше призвание. То самое начало, из которого эта истина исходит, обязывает вас, напротив, при вашем положении в свете, видеть в ней только внутренний светоч вашей веры — и ничего более. Я почитаю за счастье, что способствовал обращению ваших мыслей к религии, но я почувствовал бы себя очень несчастным, сударыня, если бы вместе с тем вызвал замешательство в вашем сознании, которое, со временем, не могло бы не охладить вашей веры. Я вам, кажется, как-то сказал, что лучшее средство сохранить религиозное чувство — это придерживаться всех обычаев, предписанных церковью. Такое упражнение в покорности важнее, чем обыкновенно думают; и то, что его налагали на себя продуманно и сознательно величайшие умы, является настоящим служением Богу. Ничто так не укрепляет разум в его верованиях, как строгое выполнение всех относящихся к ним обязанностей. Впрочем, большинство обрядов христианской религии, приистекающее из высшего разума, является действенной силой для каждого, способного проникнуться выраженными в них истинами. Есть только одно исключение из этого правила, имеющего безусловный характер, — а именно, когда обретаешь в себе верования более высокого порядка, нежели те, которые исповедуют массы, верования, возносящие душу к тому самому источнику, из коего приистекают все убеждения, причем верования эти нисколько не противоречат народным, а, напротив, их подтверждает; в таком случае, но единственно в этом, позволительно пренебречь внешней обрядностью, чтобы свободнее посвятить себя более важным трудам. Но горе тому, кто принял бы иллюзии своего тщеславия или заблуждения своего разума за необычайное озарение, освобождающее от общего закона. А вы, сударыня, не всего ли лучше облечься в одежды смирения, столь приличные вашему полу? Поверьте, это лучше всего сможет успокоить смущение вашего духа и внести мир в ваше существование. Да даже и с точки зрения светских взглядов, скажите, что может быть естественнее для женщины, развитый ум которой умеет находить прелесть в научных занятиях и серьезных размышлениях, чем сосредоточенная жизнь, посвященная главным образом религиозным помыслам и упражнениям? Вы говорите, что при чтении книг ничто так не действует на ваше воображение, как картины мирных и вдумчивых существований, которые подобно прекрасной сельской местности на закате дня вносят мир в душу и вырывают нас на мгновение из тягостной или бесцветной действительности. Но ведь это вовсе не фантастические картины: только от вас зависит осуществление одного из этих пленительных вымыслов. Вы имеете все необходимое для этого. Как

видите, я вовсе не проповедую вам мораль слишком строгую: в ваших же вкусах, в самых приятных грезах вашего воображения я ищу то, что может внести мир в вашу душу. В жизни есть обстоятельства, относящиеся не к физическому, а к духовному бытию; пренебрегать ими не следует; есть режим для души, как есть режим и для тела: надо уметь ему подчиниться. Я знаю, что это старая истина, но у нас она, кажется, имеет всю ценность новизны. Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, гораздо более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений и история человеческого духа, приведшие его во всем остальном мире к его современному состоянию, на нас не оказали никакого действия. Впрочем, то, что издавна составляет самую суть общества и жизни, для нас еще только теория и умозрение. И, к примеру сказать, вы, сударыня, столь счастливо одаренная для восприятия всего доброго и истинного на свете, вы, как бы созданная для испытания всех самых сладостных и чистых душевных наслаждений, чего вы, спрашивается, достигли при всех этих преимуществах? Вам все еще приходится разыскивать, чем бы наполнить даже не жизнь, а только текущий день. Впрочем, вы совсем лишены того, что создает необходимые рамки жизни, естественно вмещающие в себя повседневные события, а без них так же невозможно здоровое нравственное существование, как без свежего воздуха невозможно здоровое состояние физическое. Вы понимаете, дело пока еще не идет ни о нравственных принципах, ни о философских положениях, а просто о благоустроенной жизни, об этих привычках, об этих навыках сознания, которые придают уют уму и душе, непринужденность, размеренное движение. Взгляните вокруг. Разве что-нибудь стоит прочно? Можно сказать, что весь мир в движении. Ни у кого нет определенной сферы деятельности, нет хороших привычек, ни для чего нет правил, нет даже и домашнего очага, ничего такого, что привязывает, что пробуждает ваши симпатии, вашу любовь; ничего устойчивого, ничего постоянного; все течет, все исчезает, не оставляя следов ни во-вне, ни в вас. В домах наших мы как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на кочевников, мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам. И не подумайте, что это пустяки. Бедные наши души! Не будем прибавлять к остальным нашим бедам еще и ложного представления о самих себе, не будем стремиться жить жизнью чисто духовной, научимся благоразумно жить в данной действительности. Но поговорим сначала еще немного о нашей стране, при этом мы не отклонимся от нашей темы. Без этого предисловия вы не сможете понять, что я хочу Вам сказать. У всех народов есть период бурных волнений, страстного беспокойства, деятельности без обдуманного намерения. Люди в такое время скитаются по свету и дух их блуждает. Это пора великих побуждений, великих свершений, великих страстей у народов. Они тогда неистовствуют без ясного повода, но не без пользы для грядущих поколений. Все общества прошли через такие периоды, когда вырабатываются самые яркие воспоминания, свои чудеса, своя поэзия, свои самые сильные и плодотворные идеи. В этом и состоят необходимые общественные устои. Без этого они не сохранили бы в своей памяти ничего, что можно было бы полюбить, к чему пристраститься, они были бы привязаны лишь к праху земли своей. Эта

увлекательная эпоха в истории народов, это их юность; это время, когда всего сильнее развиваются их дарования, и память о нем составляет отраду и поучение их зрелого возраста. Мы, напротив, не имели ничего подобного. Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее иноземное владычество, жестокое и унижительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, — вот печальная история нашей юности. Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры нравственных сил народа — ничего подобного у нас не было. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была наполнена тусклым и мрачным существованием без силы, без энергии, одушевляемом только злодеяниями и смягчаемом только рабством. Никаких чарующих воспоминаний, никаких пленительных образов в памяти, никаких действенных наставлений в национальной традиции. Окиньте взором все прожитые века, все занятые нами пространства, и Вы не найдете ни одного приковывающего к себе воспоминания, ни одного почтенного памятника, который бы властно говорил о прошедшем и рисовал его живо и картинно. Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица. Настоящее развитие человеческого существа в обществе еще не началось для народа, пока жизнь не стала в нем более упорядоченной, более легкой, более приятной, чем в неопределенности первой поры. Пока общества еще колеблются без убеждений и без правил даже и в повседневных делах и жизнь еще совершенно не упорядочена, как можно ожидать созревания в них зачатков добра? Пока это все еще хаотическое брожение предметов нравственного мира, подобное тем переворотам в истории земли, которые предшествовали современному состоянию нашей планеты в ее теперешнем виде [4]. Мы до сих пор еще в таком положении. Первые наши годы, протекшие в неподвижной дикости, не оставили никакого следа в нашем уме и нет в нас ничего лично нам присущего, на что могла бы опереться наша мысль; выделенные по странной воле судьбы из всеобщего движения человечества, не восприняли мы и традиционных идей человеческого рода. А между тем именно на них основана жизнь народов; именно из этих идей вытекает их будущее и происходит их нравственное развитие. Если мы хотим подобно другим цивилизованным народам иметь свое лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя все воспитание человеческого рода. Для этого мы имеем историю народов и перед нами итоги движения веков. Без сомнения, эта задача трудна и одному человеку, пожалуй, не исчерпать столь обширного предмета; однако, прежде всего надо понять в чем дело, в чем заключается это воспитание человеческого рода и каково занимаемое нами в общем строе место. Народы живут только сильными впечатлениями, сохранившимися в их умах от прошедших времен, и общением с другими народами. Этим путем каждая отдельная личность ощущает свою связь со всем человечеством. В чем заключается жизнь человека, говорит Цицерон[5], если память о протекших временах не связывает настоящего с прошлым? Мы же, явившись на свет как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из поучений, оставленных еще до нашего появления. Необходимо, чтобы каждый из нас сам пытался связать порванную нить родства. То, что у других народов является просто привычкой, инстинктом, то нам приходится вбивать в свои головы ударом молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере

движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это естественное последствие культуры, всецело заимствованной и подражательной. У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т.е. по линии, не приводящей к цели. Мы подобны тем детям, которых не заставили самих рассуждать, так что, когда они вырастают, своего в них нет ничего; все их знание поверхностно, вся их душа вне их. Таковы же и мы. Народы — существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспитывают вена, как людей воспитывают годы. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. Конечно, не пройдет без следа и то наставление, которое нам суждено дать, но кто знает день, когда мы вновь обретем[6] себя среди человечества и сколько бед испытаем мы до свершения наших судеб? Народы Европы имеют общее лицо, семейное сходство. Несмотря на их разделение на ветви латинскую и тевтонскую, на южан и северян, существует общая связь, соединяющая их всех в одно целое, явная для всякого, кто углубится в их общую историю. Вы знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа носила название Христианского мира и слово это значилось в публичном праве. Помимо общего всем характера, каждый из народов этих имеет свой особый характер, но все это только история и традиция. Они составляют идейное наследие этих народов. А каждый отдельный человек обладает своей долей общего наследия, без труда, без напряжения подбирает в жизни рассеянные в обществе знания и пользуется ими. Проведите параллель с тем, что делается у нас, и судите сами, какие элементарные идеи мы можем почерпнуть в повседневном обиходе, чтобы ими так или иначе воспользоваться для руководства в жизни? И заметьте, что речь идет здесь не об учености, не о чтении, не о чем-то литературном или научном, а просто о соприкосновении сознаний, о мыслях, которые охватывают ребенка в колыбели, окружают его среди игр, которые нашептывает, лаская, его мать, о тех, которые в форме различных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, которым он дышит, и которые образуют его нравственную природу ранее выхода в свет и появления в обществе. Хотите знать, что это за мысли? Это мысли о долге, справедливости, праве, порядке. Они происходят от тех самых событий, которые создали там общество, они образуют составные элементы социального мира тех стран. Вот она, атмосфера Запада, это нечто большее, чем история или психология, это физиология европейского человека. А что вы видите у нас? Не знаю, можно ли вывести из сказанного сейчас что-либо вполне бесспорное и построить на этом непреложное положение; но очевидно, что на душу каждой отдельной личности из народа должно сильно влиять столь странное положение, когда парод этот не в силах сосредоточить своей мысли на каком ряде идей, которые постепенно развертывались в обществе и понемногу вытекали одна из другой, когда все его участие и общем движении человеческого разума сводится к слепому, поверхностному, очень часто бестолковому подражанию другим народам. Вот почему, как Вы можете заметить, всем нам не хватает какой-то устойчивости, какой-то последовательности в уме, какой-то логики. Силлогизм Запада нам незнаком. В лучших головах наших есть нечто, еще худшее, чем легковесность. Лучшие идеи, лишенные связи и последовательности, как бесплодные

заблуждения парализуются в нашем мозгу. В природе человека теряться, когда он не находит способа связаться с тем, что было до него и что будет после него; он тогда утрачивает всякую твердость, всякую уверенность; не руководимый ощущением непрерывной длительности, он чувствует себя заблудившимся в мире. Такие растерянные существа встречаются во всех странах; у нас это общее свойство. Тут вовсе не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали французов и которое, впрочем, было не чем иным, как легким способом постигать вещи, что не исключало ни глубины, ни широты ума, вносило столько прелести и обаяния в обращение; тут беспечность жизни без опыта и предвидения, не имеющая отношения ни к чему, кроме призрачного существования личности, оторванной от своей среды, не считающейся ни с честью, ни с успехами какой-либо совокупности идей и интересов, ни даже с родовым наследием данной семьи и со всеми предписаниями и перспективами, которые определяют и общественную и частную жизнь в строе, основанном на памяти о прошлом и на тревоге за будущее. В наших головах нет решительно ничего общего, все там обособлено и все там шатко и неполно. Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы. В чужих краях, особенно на Юге, где люди так одушевлены и выразительны, я столько раз сравнивал лица своих земляков с лицами местных жителей и бывал поражен этой немотой наших лиц. Иностранцы ставили нам в заслугу своего рода беспечную отвагу, особенно замечательную в низших классах народа; но имея возможность наблюдать лишь отдельные черты народного характера, они не могли судить о нем в целом. Они не заметили, что то самое начало, которое делает нас подчас столь отважными, постоянно лишает нас глубины и настойчивости; они не заметили, что свойство, делающее нас столь безразличными к превратностям жизни, вызывает в нас также равнодушие к добру и злу, ко всякой истине, ко всякой лжи, и что именно это и лишает нас тех сильных побуждений, которые направляют нас на путях к совершенствованию; они не заметили, что именно вследствие такой ленивой отваги, даже и высшие классы, как ни прискорбно, не свободны от пороков, которые у других свойственны только классам самым низшим; они, наконец, не заметили, что если мы обладаем некоторыми достоинствами народов молодых и отставших от цивилизации, то мы не имеем ни одного, отличающего народы зрелые и высококультурные. Я, конечно, не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а среди народов Европы одни добродетели, избави Бог. Но я говорю, что для суждения о народах надо исследовать общий дух, составляющий их сущность, ибо только этот общий дух способен вознести их к более совершенному нравственному состоянию и направить к бесконечному развитию, а не та или другая черта их характера. Массы подчиняются известным силам, стоящим у вершин общества. Непосредственно они не размышляют. Среди них имеется известное число мыслителей, которые за них думают, которые дают толчок коллективному сознанию нации и приводят ее в движение. Незначительное меньшинство мыслит, остальная часть чувствует, в итоге же получается общее движение. Это справедливо для всех народов земли; исключение составляют только некоторые одичавшие расы, которые сохранили из человеческой природы один только внешний облик. Первобытные народы Европы, кельты, скандинавы, германцы, имели своих друидов [7], своих скальдов [8], своих бардов [9], которые на свой лад были сильными мыслителями. Взгляните на народы северной Америки, которых искореняет с таким усердием материальная цивилизация Соединенных Штатов: среди них имеются люди, удивительные по глубине. А теперь, я вас

спрошу, где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал, кто за нас думает теперь? А между тем, раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны бы были сочетать в себе два великих начала духовной природы — воображение и разум, и объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара. Не эту роль предоставило нам провидение. Напротив, оно как будто совсем не занималось нашей судьбой. Отказывая нам в своем благодетельном воздействии на человеческий разум, оно предоставило нас всецело самим себе, не пожелало ни в чем вмешиваться в наши дела, не пожелало ни чему нас научить. Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей среды; мы не дали себе труда ничего создать в области воображения и из того, что создано воображением других, мы заимствовали одну лишь обманчивую внешность и бесполезную роскошь. Удивительное дело! Даже в области той науки, которая все охватывает, наша история ни с чем не связана, ничего не объясняет, ничего не доказывает. Если бы орды варваров, потрясших мир, не прошли прежде нашествия на Запад по нашей стране, мы едва были бы главой для всемирной истории. Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера. Когда-то великий человек[10] вздумал нас цивилизовать и для того, чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой раз другой великий монарх[11], приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы [12]; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и губительные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека[13]. В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке. Я не перестаю удивляться этой пустоте, этой удивительной оторванности нашего социального бытия. В этом, наверное, отчасти повинна наша непостижимая судьба. Но есть здесь еще, без сомнения, и доля человеческого участия, как во всем, что происходит в нравственном мире. Спросим снова историю: именно она объясняет народы. В то время, когда среди борьбы между исполненной силы варварством народов Севера и возвышенной мыслью религии воздвигалось здание современной цивилизации, что делали мы? По воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения этих народов. Только что перед тем эту семью похитил у вселенского братства один честолюбивый ум[1]; и мы восприняли идею в столь искаженном людской страстью виде. В Европе все тогда было одушевлено животворным началом единства. Все там из него происходило, все к нему сходилось. Все умственное движение той поры только и стремилось установить единство человеческой мысли, и любое побуждение исходило из



властной потребности найти мировую идею, эту вдохновительницу новых времен. Чуждые этому чудотворному началу, мы стали жертвой завоевания. И когда, затем, освободившись от чужеземного ига, мы могли бы воспользоваться идеями, расцветшими за это время среди наших братьев на Западе, мы оказались отторгнутыми от общей семьи, мы подпали рабству, еще более тяжкому, и притом освященному самим фактом нашего освобождения. Сколько ярких лучей тогда уже вспыхнуло среди кажущегося мрака, покрывающего Европу. Большинство знаний, которыми ныне гордится человеческий ум, уже угадывалось в умах; характер нового общества уже определился и, обращаясь назад к языческой древности, мир христианский снова обрел формат прекрасного, которых ему еще не доставало. До нас же, замкнувшихся в нашем расколе, ничего из происходившего в Европе не доходило. Нам не было никакого дела до великой всемирной работы. Выдающиеся качества, которыми религия одарила современные народы и которые в глазах здравого смысла ставят их настолько выше древних, насколько последние выше готтентотов или лопарей; эти новые силы, которыми она обогатила человеческий ум; эти нравы, которые под влиянием подчинения безоружной власти стали столь же мягкими, как ранее они были жестоки, — все это прошло мимо нас. Вопреки имени христиан, которое мы носили, в то самое время, когда христианство величественно шествовало по пути, указанному божественным его основателем, и увлекало за собой поколения, мы не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, у нас же ничего не созидалось: мы попрежнему ютились в своих лачугах из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода не для нас свершались. Хотя мы и христиане, не для нас созревали плоды христианства. Я вас спрашиваю: не нелепость ли господствующее у нас предположение, будто этот прогресс народов Европы, столь медленно совершившийся и притом под прямым и явным воздействием одной нравственной силы, мы можем себе сразу усвоить, даже не потрудившись узнать, как он совершился? Ничего не понимают в христианстве те, которые не замечают в его чисто исторической стороне, составляющей столь существенную часть вероучения, что в ней до некоторой степени заключается вся философия христианства, так как именно здесь обнаруживается, что оно сделало для людей и что ему предстоит сделать для них в будущем. В этом смысле христианская религия раскрывается не только как система нравственности, воспринятая в преходящих формах человеческого разума, но еще как божественная вечная сила, действующая всеобщим образом в духовном мире, так что ее видимое проявление должно служить нам постоянным поучением. В этом и заключается собственный смысл догмата, выраженного в символе веры единой вселенской церкви[14]. В мире христианском все должно непременно способствовать установлению совершенного строя на земле, да и ведет к этому на самом деле. В противном случае дела опровергли бы слова Спасителя. Он бы не был среди своей церкви до скончания веков. Новый строй — царство Божье, который должен наступить благодаря искуплению, — не отличался бы от старого строя, — от царства зла, — который должен быть искуплением искоренен, и мы снова остались бы с этим воображаемым свойством неперменного совершенствования, о котором мечтает философия и которое опровергается на каждой странице истории: это пустое возбуждение ума, которое удовлетворяет лишь потребностям материального бытия и которое, если и поднимает человека на некоторую высоту, то всегда лишь с тем, чтобы низвергнуть его в еще более глубокую пропасть. Но разве мы не христиане, скажете вы, и разве нельзя быть цивилизованным не по европейскому образцу? Да, мы без всякого сомнения христиане, но не христиане ли и абиссинцы? И можно быть, конечно, цивилизованным иначе, чем в Европе; разве

не цивилизована Япония, да еще и в большей степени, чем Россия, если верить одному из наших соотечественников [15]? Но разве вы думаете, что в христианстве абиссинцев и в цивилизации японцев осуществлен тот порядок вещей, о котором я только что говорил и который составляет конечное назначение человеческого рода? Неужели вы думаете, что эти нелепые отступления от божеских и человеческих истин низведут небо на землю? Христианство обладает двумя легко различимыми функциями. Во-первых, действием на индивидуальное, во-вторых, действием на общее сознание. В верховном разуме то и другое естественно сливается и приводит к одной и той же цели. Но наш ограниченный взгляд не в силах охватить все время, в которое осуществляются вечные предначертания божественной мудрости. Нам необходимо различать божественное действие, проявляющееся в данное время в жизни человека, от того действия, которое проявляется лишь в бесконечности. В день окончательного завершения дела искупления все сердца и все умы составят лишь одно чувство и лишь одну мысль, и падут все стены, разделяющие народы и вероисповедания. Но в настоящее время каждому важно знать свое место в общем строе призвания христиан, т.е. знать, каковы те средства, которые он находит в себе и вокруг себя, для того, чтобы сотрудничать в достижении цели, стоящей перед всем человеческим обществом в целом. Непременно должен быть, следовательно, особенный круг идей, в пределах которого идет брожение умов в том обществе, где цель эта должна осуществиться, т.е. там, где идея откровения должна созреть и достигнуть всей своей полноты. Этот круг идей, эта нравственная сфера неизбежно обуславливают особый образ жизни и особую точку зрения, которые, хотя могут и не совпадать у разных народов, однако по отношению к нам, как и по отношению ко всем неевропейским народам, создают одну и ту же особенность и поведение, как следствие той огромной духовной работы в течение восемнадцати веков, в которой участвовали все страсти, все интересы, все страдания, все воображения, все усилия разума. Все народы Европы, подвигаясь из века в век, шли рука об руку. Что бы они сейчас ни делали, каждый по-своему, они все же постоянно сходятся на одном и том же пути. Чтобы понять семейное сходство в развитии этих народов, не надо даже изучать историю: читайте только Тасса[16] и вы увидите все народы распростертыми у подножия стен Иерусалима. Вспомните, что в течение пятнадцати веков у них был только один язык при обращении к Богу, только один нравственный авторитет, только одно убеждение; вспомните, что в течение пятнадцати веков в один и тот же год, в один и тот же день, в один и тот же час, в одних и тех же выражениях они возносили свой голос к Верховному Существо, прославляя его в величайшем из его благодеяний: дивное созвучие, в тысячу раз более величественное, чем все гармонии физического мира. После этого ясно, что если та сфера, в которой живут европейцы и которая одна лишь может привести род человеческий к его конечному назначению, есть результат влияния, произведенного на них религией, и ясно, что если слабость наших верований или несовершенство нашего вероучения удерживали нас вне этого всеобщего движения, в котором социальная идея христианства развилась и получила определенное выражение, а мы были отнесены к числу народов, которым суждено использовать воздействие христианства во всей силе лишь косвенно и с большим опозданием, то необходимо стремиться всеми способами оживить наши верования и наше воистину христианское побуждение, ибо ведь там все совершило христианство. Так вот что я имел в виду, говоря о необходимости снова начать у нас воспитание человеческого рода. Вся история нового общества происходит на почве убеждений. Значит, это настоящее воспитание. Утвержденное с самого начала на этой основе, новое

общество двигалось вперед лишь под влиянием мысли. Интересы в нем всегда следовали за идеями и никогда им не предшествовали. В этом обществе постоянно из убеждений создавались интересы, никогда интересы не вызывали убеждений. Все политические революции были там по сути революциями нравственными. Искали истину и нашли свободу и благоденствие. Только так объясняется исключительное явление нового общества и его цивилизации; иначе в нем ничего нельзя было бы понять. Религиозные гонения, мученичества, распространение христианства, ереси, соборы: вот события, заполняющие первые века. Все достижения данной эпохи, не исключая и вторжения варваров, целиком связываются с младенческими усилиями нового духа. Образование иерархии, сосредоточение духовной власти и продолжение распространения религии в странах севера — вот чем была наполнена следующая эпоха. Наступает затем высший восторженный подъем религиозного чувства и упрочение духовной власти. Философское и литературное развитие сознания и улучшение нравов под влиянием религии заканчивают эту историю, которую можно назвать священной, подобно истории древнего избранного народа. Наконец, и нынешнее состояние обществ определяется религиозной реакцией, новым толчком, сообщенным человеческому духу религией. Итак, главный, можно сказать единственный интерес у новых народов заключался лишь в убеждении. Все интересы материальные, положительные, личные — поглощались этим интересом. Я знаю, вместо преклонения перед таким чудесным порывом человеческой природы к возможному совершенству, его называли фанатизмом и суеверием. Но что бы там ни говорили, судите сами, какое глубокое впечатление должно было оставить на характере этих народов социальное развитие, целиком вызванное, как в добре, так и во зле, одним чувством. Пускай поверхностная философия сколько угодно шумит по поводу религиозных войн, костров, зажженных нетерпимостью; что касается нас, мы можем только завидовать судьбе народов, которые в этом столкновении убеждений, в этих кровавых схватках в защиту истины создали себе мир понятий, какого мы не можем себе даже и представить, а не то что перенестись туда телом и душой, как мы на это притязаем. Повторю еще раз: разумеется, в странах Европы не все исполнено ума, добродетели, религии, совсем нет. Но все там таинственно подчинено силе, безраздельно царившей на протяжении столетий; все является результатом того продолжительного сцепления актов и идей, которым создано теперешнее состояние общества, и вот, между прочим, тому пример. Народ, личность которого ярче всех обозначилась, учреждения которого всегда более отражают новый дух, англичане, — собственно говоря, не имеют истории, помимо церковной. Последняя их революция[17], которой они обязаны своей свободой и процветанием, а также и вся последовательность событий, приведших к этой революции, начиная с Генриха VIII, не что иное как религиозное развитие. Во всем этом периоде интересы собственно политические проявлялись лишь в качестве второстепенных побуждений, а подчас они совершенно исчезали или же приносились в жертву убеждениям. И когда я пишу эти строки[2], опять-таки религиозный вопрос волнует эту избранную страну[18]. Да и вообще, какой из народов Европы не нашел бы в своем национальном самосознании, если бы удосужился поискать, этой особой черты, которая, как святой завет, была постоянным животворным началом, душой его социального бытия во все продолжение его существования. Действие христианства отнюдь не ограничивается его немедленным и прямым влиянием на душу людей. Сильнейшее воздействие, которое оно призвано оказать, осуществляется в множестве нравственных, умственных и социальных комбинаций, где полная свобода

человеческого духа должна непременно найти неограниченный простор. Итак, понятно, что все совершившееся с первого дня нашей эры или, вернее, с того момента, как Спаситель мира сказал своим ученикам: "Идите, проповедуйте Евангелие всякой твари"[19], заключается целиком, со всеми нападками на христианство в том числе, и общей идее его влияния. Чтобы убедиться в исполнении пророчества Христа, достаточно наблюдать повсеместное водворение владычества его в сердцах, будь то с сознанием или бессознательно, добровольно или против воли. И поэтому, невзирая на все незаконченное, порочное и преступное в европейском обществе, как оно сейчас сложилось, все же царство Божие в известном смысле в нем действительно осуществлено, потому, что общество это содержит в себе начало бесконечного прогресса и обладает в зародыше и в элементах всем необходимым для его окончательного водворения в будущем на земле. Прежде чем заключить, сударыня, эти размышления о том воздействии, которое религия оказала на общество, я повторю здесь то, что сказал об этом когда-то в одном сочинении, вам неизвестном[20]. "Несомненно, — писал я, — что пока не замечаешь влияния христианства везде, где человеческая мысль с ним как бы то ни было сталкивается, хотя бы только с целью борьбы, не имеешь о нем ясного представления. Всюду, где произнесено имя Христа, оно само по себе неотразимо увлекает людей, что бы они ни делали. Ничто не обнаруживает вернее божественного происхождения этой религии, чем свойственная ей черта абсолютной всеобщности, вследствие которой она внедряется в душах всевозможными способами, овладевает без их ведома умами, господствует над ними, подчиняет их даже и тогда, когда они как будто сильнее всего сопротивляются, внося при этом в сознание чуждые ему до сих пор истины, заставляя сердце переживать неиспытанные им ранее впечатления, внушая нам чувства, которые незаметно вынуждают нас занять место в общем строе. Этим она определяет действие всякой индивидуальности и все направляет к одной цели. При таком взгляде на христианство всякое изречение Христа становится осязаемой истиной. И тогда явственно различаешь действие всех рычагов, которые пускает в ход его всемогущая десница, чтобы направить человека к его назначению, не посягая на его свободу, не сковывая ни одной из его природных сил, а, напротив, вызывая их высшее напряжение и возбуждая до бесконечности всю, сколько в нем ни есть, его собственную мощь. Тогда бросается в глаза, что в новом распорядке ни один нравственный элемент не остается без действия, что все находит в нем место и применение, самые деятельные дарования ума, равно как и горячие изливания чувства, героизм сильной души, как и преданность покорного духа. Доступная всякому сознательному созданию, сочетаясь со всяким движением сердца, из-за чего оно бы ни билось, мысль откровения захватывает все, растет и крепнет даже и вследствие препятствий на своем пути. С гением она возвышается до высот, недоступных прочим смертным, с робким духом она пробирается, припав к земле и подвигаясь шаг за шагом; в сосредоточенном уме она независима и глубока, в душе, поддающейся воображению, она витает в эфире и полна образов; в нежном и любящем сердце она исходит милосердием и любовью; она всегда идет наравне со всяким вверившимся ей сознанием, заполняя его жаром, силой и светом. Взгляните, какое разнообразие свойств, какое множество сил она приводит в движение, сколько различных способностей сливается воедино, сколько несходных сердец заставляет биться из-за одной и той же идеи! Но еще поразительнее действие христианства на общество в целом. Окиньте взглядом всю картину развития нового общества и вы увидите, что христианство претворяет все интересы людей в свои собственные, заменял везде материальную потребность потребностью

нравственной, возбуждая в области мысли великие прения, какие история не наблюдала ни в одной другой эпохе и ни в одном другом обществе, вызывая жестокую борьбу между убеждениями, так что жизнь народов превращалась в великую идею и во всеобъемлющее чувство; вы увидите, что в христианстве, и только в нем, разрешалось все: жизнь частная и жизнь общественная, семья и родина, наука и поэзия, разум и воображение, воспоминания и надежды, радости и горести. Благо тем, кто в великом движении, возбужденном в мире самим Богом, носят в сердце внутреннее сознание производимого ими действия; но не все в этом движении орудия деятельные, не все работают сознательно; массы по необходимости движутся слепо, как неодушевленные атомы, косные громады, не знающие тех сил, которые приводят их в движение, не различая той цели, к которой они влекутся". Пора обратиться снова к вам, сударыня. Мне, признаться, трудно оторваться от этих широких горизонтов. С этой высоты открывается перед моими глазами картина, в которой почерпаю я все свои утешения; в сладостном чаянии грядущего блаженства людей мое прибежище, когда под гнетом обступающей меня печальной действительности я чувствую потребность подышать более чистым воздухом, взглянуть на более ясное небо. Я, впрочем, не думаю, что злоупотребил вашим временем. Надо было выяснить вам точку зрения, с которой следует смотреть на мир христианский и на то, что в этом мире делаем мы. Я должен был показаться вам желчным в отзывах о родине: однако же я сказал только правду и даже еще не всю правду. Притом, христианское сознание не терпит никакого ослепления, и менее всех других предрассудка национального, так как он более всего разделяет людей. Письмо мое слишком затянулось, сударыня. Полагаю что нам обоим следует передохнуть. Вначале мне казалось, что я смогу в немногих словах передать вам заду манное. Поразмыслив, нахожу, что здесь имеется материала на целый том. Устраивает ли это вас, сударыня? Вы мне это скажете. Во всяком случае вам не миновать второго письма, ибо мы только что приступили к существу дела. Между тем, я буду вам очень признателен, если вы сочтете растянутость первого письма возмещением за время вашего вынужденного ожидания. Я взялся за перо в самый день получения письма. Печальные и утомительные заботы меня тогда всецело поглощали: надо было от них отделаться прежде, чем начать беседу о столь важных предметах; затем пришлось переписать мое маранье, совершенно неудобочитаемое. На этот раз ожидать вам придется недолго: завтра же я снова берусь за перо. Некрополис[21], 1829, 1 декабря[22].

## **ПИСЬМО ВТОРОЕ[23]**

Если я удачно передал наперед свою мысль, вы должны были убедиться в том, что я отнюдь не думаю, будто нам не хватает одних только знаний. Правда, и их у нас не слишком много, но приходится в данное время обойтись без тех обширных духовных сокровищ, которые веками скапливались в других странах и находятся там в распоряжении человека: нам предстоит другое. К тому же, если допустить, что мы смогли бы путем изучения и размышления добыть себе недостающие нам знания, откуда нам взять мощные традиции, обширный опыт, глубокое осознание минувших времен, прочные умственные навыки — все эти последствия огромного напряжения всех человеческих способностей, а они-то и составляют нравственную природу народов Европы и дают им подлинное превосходство. Итак, задача сейчас не в расширении области наших идей, а в том, чтобы исправить те, которыми мы обладаем, и придать им новое направление. Что касается вас, сударыня, то вам

прежде всего нужна сфера бытия, в которой свежие мысли, случайно зароненные в ваш ум, новые потребности, порожденные этими мыслями в вашем сердце, и чувства, возникшие под их воздействием в вашей душе, нашли бы действительное применение. Вы должны создать себе собственный мир, раз тот, в котором вы живете, стал вам чуждым. Начать с того, что состояние души нашей, как бы высоко мы ее ни настроили, зависит от окружающей обстановки. Поэтому вам надлежит как следует разобраться в том, что можно сделать при вашем положении в свете и в собственной вашей семье для согласования ваших чувств с вашим образом жизни, ваших идей - с вашими домашними отношениями, ваших верований — с верованиями тех, кого вы видите... Ведь множество зол возникает именно от того, что происходящее в глубине нашей мысли резко расходится с необходимостью подчиняться общественным условиям. Вы говорите, что средства не позволяют вам удобно устроиться в столице. Ну что ж, у вас прелестная усадьба: почему бы вам не перенести туда свой домашний очаг до конца ваших дней? Это счастливая необходимость, и от вас одной зависит извлечь из нее всю ту пользу, какую могли бы вам доставить самые поучительные указания философии. Сделайте свой приют как можно более привлекательным, займитесь его красивым убранством и украшением, почему бы даже не вложить в это некоторую изысканность и нарядность? Ведь это вовсе не особый вид утонченной чувственности; заботы ваши будут иметь целью не вульгарные удовольствия, а возможность всецело сосредоточиться в своей внутренней жизни. Очень прошу вас не пренебрегать этими внешними мелочами[24]. Мы живем в стране, столь бедной проявлениями идеального, что если мы не окружим себя в домашней жизни некоторой долей поэзии и хорошего вкуса, то легко можем утратить всякую деликатность чувства, всякое понятие об изящном. Одна из самых поразительных особенностей нашей своеобразной цивилизации заключается в пренебрежении удобствами и радостями жизни. Мы лишь с грехом пополам боремся с ненастями разных времен года, и это при климате, о котором можно не в шутку спросить себя, был ли он предназначен для жизни разумных существ. Раз мы допустили некогда неосторожность поселиться в этом жестоком климате, то постараемся по крайней мере ныне устроиться в нем так, чтобы можно было несколько забыть его суровость. Мне помнится, вы в былое время с большим удовольствием читали Платона. Вспомните, как заботливо самый идеальный, самый выпренный из мудрецов древнего мира окружает действующих лиц своих философских драм всеми благами жизни. То они медленно гуляют по прелестным побережьям Иллиса или в кипарисовых аллеях Гносса, то они укрываются в прохладной тени старого платана или вкушают сладостное отдохновение на цветущей лужайке, а то, выждав спадения дневной жары, наслаждаются ароматным воздухом и тихой прохладой вечера в Аттике[25] или же, наконец, возлежат в удобных позах, увенчанные цветами и с кубками в руках, вокруг стола с яствами[26]; и только прекрасно устроив их на земле, он возносит их в надлунные пространства, в которых так любит витать. Я мог бы вам указать, и в сочинениях самых строгих отцов церкви, у св. Иоанна Златоуста, у св. Григория Назианзина, даже у св. Василия, прелестные изображения уединений, где эти великие люди находили покой и высокие вдохновения, сделавшие их светилами веры. Эти святые мужи не думали, что они унижают свое достоинство, уделяя внимание заботам о предметах, наполняющих значительную часть жизни. В этом безразличии к жизненным благам, которые иные из нас вменяют себе в заслугу, есть поистине нечто циничное. Одна из главных причин, замедляющих у нас прогресс, состоит в отсутствии всякого отражения изящного в нашей домашней жизни. Затем, я бы хотел, чтобы вы устроили себе в этом убежище, которое вы как

можно лучше украсите, вполне однообразный и методический образ жизни. Нам всем не хватает духа порядка и методичности, избавимся от этого недостатка. Не стоит повторять доводов в пользу размеренной жизни; во всяком случае одно лишь постоянное подчинение определенным правилам может научить нас без усилий подчиняться высшему закону нашей природы. Но для точного соблюдения какого-либо правила необходимо устранить все, что этому мешает. Часто с первых часов дня бываешь выбит из намеченного круга занятий, и весь день испорчен. Нет ничего важнее первых испытанных нами впечатлений, первых мыслей, приходящих к нам, когда мы вновь возвращаемся к жизни вслед за подобием смерти, которое разделяет наши дни. Эти впечатления и эти мысли обычно определяют состояние нашей души на весь день. Вот, он начался домашней сварой и закончился непоправимой ошибкой. Поэтому приучитесь первые часы дня сделать как можно более значительными и торжественными, сразу вознесите душу на всю ту высоту, к какой она способна, старайтесь провести эти часы в полном уединении, устраняйте все, что может слишком на вас повлиять, слишком вас рассеять; при такой подготовке вы можете безбоязненно встретить те неблагоприятные впечатления, которые затем вас охватят и которые при других условиях превратили бы ваше существование в непрерывную борьбу, без надежды на победу. К тому же, раз это время упущено, потом уже не вернешь его для уединения и сосредоточенной мысли. Жизнь поглотит вас всеми своими заботами как приятными, так и скучными, и вы закрутитесь в нескончаемом колесе житейских мелочей. Не дадим же протекать без пользы единственному часу дня, когда мы можем принадлежать самим себе. Признаюсь, я придаю большое значение этой потребности ежедневно сосредоточиться и воспрянуть духом, я уверен, что нет другого средства уберечь себя от засилия окружающих вещей; но вы, конечно, понимаете, что это далеко еще не все. Одна идея, пронизывающая всю вашу жизнь, должна всегда стоять перед вами, служить нам светочем во всякое время дня. Мы являемся в мир со смутным инстинктом нравственного блага, но вполне осознать его мы можем лишь в более полной идее, которая из этого инстинкта развивается в течение всей жизни. Этой внутренней работе надо все приносить в жертву, применительно к ней надо установить весь порядок вашей жизни. Но все это должно протекать в сердечном молчании, потому что мир не сочувствует ничему глубокому. Он отвращает взор от великих убеждений, глубокая идея его утомляет. Вам не должны быть свойственны верное чувство и сосредоточенная мысль, не зависящие от различных людских мнений, а уверенно ведущие вас к цели. Не завидуйте обществу в его чувственных удовольствиях, вы обретете в своем уединении наслаждения, о которых там и понятия не имеют. Я не сомневаюсь в том, что, освоившись с ясной атмосферой такого существования, вы станете спокойно взирать из своей обители на то, как волнуется и для вас исчезает мир, вы насладитесь покоем вашей души. А пока надо усвоить себе вкусы, привычки, привязанности вашего нового образа жизни. Надо избавиться от всякого суетного любопытства, расстраивающего и уродующего жизнь, и первым делом искоренить упорную склонность сердца увлекаться новинками, гоняться за злобами дня и вследствие этого постоянно с жадностью ожидать наступления дня завтрашнего. Иначе вы не обретете ни мира, ни благополучия, а одни только разочарования и отвращения. Хотите ли вы, чтобы мирской поток разбивался у порога вашего мирного жилища? Если да, то изгоните из вашей души все эти беспокойные страсти, возбуждаемые светскими происшествиями, все эти нервные волнения, вызванные преходящими новостями. Замкните дверь перед всяким шумом, всякими отголосками света. Наложите у себя запрет, если хватит у вас решимости,

даже и на всю легковесную литературу, — по существу она не что иное, как тот же шум, но только в письменном виде. На мой взгляд, нет ничего более несовместимого с правильным умственным укладом, чем жажда чтения новинок. Повсюду мы встречаем людей, ставших неспособными серьезно размышлять, глубоко чувствовать вследствие того, что пищу их составляли одни только эти недолговечные произведения, в которых за все хватаются, ничего не углубив, в которых все обещают, ничего не выполняя, где все принимает сомнительную или лживую окраску и все вместе оставляет после себя пустоту и неопределенность. Если вы ищете удовлетворения в избранном вами образе жизни, необходимо добиться, чтобы новое из-за одной новизны своей никогда вами не ценилось. Нет никакого сомнения, чем более вы согласуете свои вкусы и потребности с этим образом жизни, тем лучше вы будете себя чувствовать. Чем теснее вы свяжете внешнее с внутренним, видимое с невидимым, тем более приятным будет предстоящий вам путь. Не надо однако скрывать от себя и ожидающие вас трудности. Их в нашей стране так много, что всех и не перечислить. Здесь не торная дорога, где колесо жизни катится по наезженной колее: это тропа, по которой приходится продирааться сквозь колючки и тернии, а подчас и сквозь чашу. В старых цивилизованных странах Европы давно сложились определенные бытовые образцы, так что там, когда решишь переменить образ жизни, достаточно просто-напросто выбрать ту новую обстановку, в которую желаешь перенестись, — место заранее готово; распределение ролей сделано. Как только вы выберете подходящую для себя роль, и люди и предметы сами собой расположатся вокруг вас. Вам остается только должным образом их использовать. Совсем иное дело у нас. Сколько издержек, сколько труда, прежде чем Вы освоитесь в новой обстановке! Сколько теряется времени, сколько затрачивается сил на приспособление, на то, чтобы приучить окружающих смотреть на вас сообразно с новым вашим положением, чтобы заставить молчать глупца, чтобы улеглось любопытство. Разве здесь знают, что такое могущество мысли? Разве здесь испытали, как прочное убеждение вследствие тех или других причин вторгается в душу вопреки привычному ходу вещей, через некое внезапное озарение, через указание свыше[27], овладевает душой, переворачивает все ваше существо и возносит вас выше вас самих и всего того, что вас окружает? Живое сознание вызывало ли здесь когда-либо сердечный отклик? Был ли здесь кто-нибудь привержен культу истины? [28] Естественно, что всякий, кто отдается с жаром своим верованиям, наткнется среди этой толпы, которую никогда ничего не потрясало, на препятствия и возражения. Вам придется себе все создавать, сударыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами[29]. И это буквально так. Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окружающую вас атмосферу? Эти борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем все мы гибнем, бессильные[30] выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели. Отягченная роковым грехом, где она, та прекрасная душа, которая бы не заглохла под этим невыносимым бременем? Где человек, столь сильный, чтобы в вечном противоречии с самим собою, постоянно думая одно и поступая по-другому, не опротивел самому себе? И вот я снова вернулся, сам того не замечая, к тому, с чего начал: позвольте мне еще немного об этом поговорить, и я затем вернусь к вам. Эта ужасная язва, которая нас изводит, в чем же ее причина?



Как могло случиться, что самая поразительная черта христианского общества как раз именно и есть та, от которой русский народ отрекся в лоне самого христианства? Откуда у нас это обратное действие религии? Не знаю, но мне кажется, одно это могло бы заставить усомниться в православии, которым мы кичимся. Вы знаете, что ни один философ древности не пытался представить себе общества без рабов, да и не находил никаких возражений против рабства. Аристотель, признанный представитель всей той мудрости, какая только была в мире до пришествия Христа, утверждал, что люди рождаются — одни, чтобы быть свободными, другие — чтобы носить оковы[31]. Вы знаете также и то, что по признанию самых даже упорных скептиков уничтожением крепостничества в Европе мы обязаны христианству. Более того, известно, что первые случаи освобождения были религиозными актами и совершались перед алтарем и что в большинстве отпускных грамот мы встречаем выражение: *pro redemptione animae* — ради искупления души. Наконец, известно, что духовенство показало везде пример, освобождая собственных крепостных, и что римские первосвященники первые способствовали уничтожению рабства в области, подчиненной их духовному управлению[32]. Почему же христианство не имело таких же последствий у нас? Почему, наоборот, русский народ попал в рабство лишь после того, как он стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуйских? Пусть православная церковь объяснит это явление. Пусть скажет, почему она не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой. И посмотрите, пожалуйста, как мало нас знают, невзирая на всю нашу мощь и величие. Как раз на этих днях в одно время и на Босфоре и на Евфрате прогремел гром наших пушек[33]. А между тем, историческая наука, которая именно и это самое время доказывает, что уничтожение рабства есть заслуга христианства, даже и не подозревает, что христианский народ в 40 миллионов душ пребывает в оковах! Дело в том, что значение народов в роде человеческого определяется лишь их духовной мощью и что тот интерес, который они к себе возбуждают, зависит от их нравственного влияния в мире, а не от шума, который они производят. Теперь вернемся назад. После сказанного о желательном, на мой взгляд, для вас образе жизни, вы, пожалуй, могли бы подумать, что я требую от вас монашеской замкнутости. Но речь идет лишь о трезвом и осмысленном существовании, а оно не имеет ничего общего с мрачной суровостью аскетической морали. Я говорю о жизни, отличной от жизни толпы, с такой положительной идеей и таким чувством, преисполненным убеждения, к которому сводились бы все остальные мысли, все остальные чувства. Такое существование прекрасно мирится со всеми законными благами жизни: оно даже их требует, и общение с людьми — необходимое его условие. Одиночество таит свои опасности, в нем подчас нас ожидают странные искушения. Сосредоточенный в самом себе ум питается созданными им лживыми образами, и подобно св. Антонию[34] населяет свою пустыню призраками, порождениями собственного воображения, и они его затем и преследуют. А между тем, если развивать религиозную мысль без страсти, без насилия, то сохранишь даже и среди мирской суеты то внутреннее состояние, перед которым бессильны все обольщения, все увлечения жизни. Надо найти такое душевное настроение, мягкое и простое, которое сумело бы без усилий сочетать со всеми действиями разума, со всеми сердечными эмоциями идею истины и добра. В особенности следует стремиться проникнуться истинами откровения. Огромное преимущество этих истин в том, что они доступны всякому разумному существу, что они мирятся с особенностями всех умов. К ним ведут всевозможные пути: и покорная и слепая вера, которую без размышления исповедуют массы, и глубокое

знание, и простодушное сердечное благоговение, и вдохновенное размышление, и возвышенная поэзия души. Однако самый простой путь — целиком положиться на те столь частые случаи, когда мы сильнее всего подпадаем под действие религиозного чувства на нашу душу и нам кажется, что мы лишились лично нам принадлежащей силы, и против своей воли влечемся к добру какою-то высшей силой, отрывающей нас от земли и возносящей на небо. И вот тогда именно, в сознании своей немощи, дух наш раскроется с необычайной силой для мыслей о небе, и самые высокие истины сами собой потекут в наше сердце. Многократно возвращаясь к основному началу нашей духовной деятельности, к движущим силам наших мыслей и наших поступков, невозможно не заметить, что значительная часть их определяется чем-то таким, что нам отнюдь не принадлежит, и что самое хорошее, самое возвышенное, самое для нас полезное из происходящего в нас вовсе не нами производится. Все то благо, которое мы совершаем, есть прямое следствие присущей нам способности подчиняться неведомой силе: единственная действительная основа деятельности, исходящей от нас самих, связана с представлением о нашей выгоде в пределах того отрезка времени, который мы зовем жизнью; это не что иное, как инстинкт самосохранения, который присущ нам, как и всем одушевленным существам, но видоизменяется в нас согласно нашей своеобразной природе. Поэтому, что бы мы ни делали, какую бы незаинтересованность ни стремились вложить в свои чувства и свои поступки, руководит нами всегда один только этот интерес, более или менее правильно понятый, более или менее близкий или отдаленный. Как бы ни было пламенно наше стремление действовать для общего блага, это воображаемое нами отвлеченное благо есть лишь то, чего мы желаем для самих себя, а устранить себя вполне нам никогда не удастся: в том, что мы желаем для других, мы всегда учитываем собственное благо. И потому высший разум, выражая свой закон на языке человека, снисходя к нашей слабой природе, предписал нам только одно: поступать с другими так, как мы желаем, чтобы поступали с нами. И в этом, как и во всем другом, он идет вразрез с нравственным учением философии, которая считает, что постигает абсолютное благо, т.е. благо универсальное, как будто только от нас зависит составить себе понятие о полезном вообще, когда мы не знаем и того, что нам самим полезно. Что такое абсолютное благо? Это незыблемый закон, по которому все стремится к своему предназначению: вот все, что мы о нем знаем. Но если руководить нашей жизнью должно понятие об этом благе, разве не необходимо знать о нем что-либо еще? До определенного момента мы, безусловно, действуем сообразно всеобщему закону, в противном случае мы заключали бы в себе самих основу нашего бытия, а это нелепость; но мы действуем именно так, сами не зная, почему: движимые невидимой силой, мы можем улавливать ее действие, изучать ее в ее проявлениях, подчас отождествляться с нею, но вывести из всего этого положительный закон нашего духовного бытия — вот это нам недоступно. Смутное чувство, неоформленное понятие без обязательной силы — большего мы никогда не добьемся. Вся человеческая мудрость заключена в этой страшной насмешке Бога в Ветхом Завете: вот Адам стал как один из нас, познав добро и зло[35]! Я думаю, вы из сказанного уже предугадываете всю неизбежность откровения: и вот что по моему мнению доказывает эту неизбежность. Человек научается познавать физический закон, наблюдая явления природы, которые чередуются у него перед глазами сообразно единообразному и неизменному закону. Собирая воедино наблюдения предшествующих поколений, он создает систему познаний, подтверждаемую его собственным опытом, а великое орудие исчисления облакает ее в неизменную форму математической достоверности. Хотя

этот круг познаний охватывает далеко не всю систему природы и не возвышается до значения общей основы всех вещей, он все же заключает в себе вполне положительные познания, потому что познания эти относятся к существам, протяжение и длительность которых могут быть познаны чувствами или же предусмотрены достоверными аналогиями. Словом, здесь царство опыта, и поскольку опыт может сообщить достоверность понятиям, которые он вводит в наш ум, постольку мир физический может быть нами познан. Вы хорошо знаете, что эта достоверность доходит до того, что мы можем предвидеть некоторые явления за много времени вперед и способны с невероятной силой воздействовать на неодушевленную материю. Итак, нами указаны средства достоверного познания, которыми располагает человек. Если, помимо этого, разум наш имеет еще способность спонтанности, т.е. деятельное начало, независящее от восприятия материального мира, то во всяком случае и эту собственную свою силу он может применять лишь к материалу, который доставляет ему [а порядке материальном наблюдение][36]; а в порядке духовном — <к чему> применит человек эти средства? Что именно ему придется наблюдать для раскрытия закона духовного порядка? Разумную природу, не правда ли? Но разве природа разумная такова же, как природа материальная? Не свободна ли она? Разве она не следует закону, который сама для себя устанавливает? Поэтому, исследуя разум в его внешних и внутренних проявлениях, что мы узнаем? Что он свободен, вот и все. И если мы при этом исследовании вдруг достигнем чего-либо абсолютного, разве ощущение нашей свободы не отбросит нас немедленно, и притом неизбежно, в тот самый круг рассуждения, из которого мы только что перед тем как будто выбились? Не очутимся ли мы сразу на прежнем месте? Круг этот неизбежен. Но это не все. Предположим, что мы на самом деле возвысились до некоторых истин, настолько доказанных, что разум вынужден их принять непременно. Предположим, что мы действительно нашли несколько общих законов, которым разумное существо непременно должно подчиниться. Эти законы, эти истины будут относиться лишь к одной части всей жизни человека, к его земной жизни, ничего общего не будут они иметь с другой частью, которая нам совершенно неведома и тайну которой не сможет нам раскрыть никакая аналогия. Каким же образом могут они быть истинными законами духовного существа, раз они касаются лишь части его существования, одного мгновения в его жизни? Так что, если мы таким образом и постигнем эти законы на основании опыта, то и они смогут быть только законами одного периода времени, пройденного духовной природой, а в таком случае как можем мы их признать за законы духовной природы вообще? Не значило ли бы это то же самое, как если бы сказали, что для каждого возраста есть специальная врачебная наука, и чтобы лечить, например, детские болезни, излишне знать немощи зрелого возраста? Что для предписания образа жизни, подходящего для молодежи, нет нужды знать тот, который пригоден для человека вообще? Что состояние нашего здоровья не определяется состоянием здоровья всех моментов нашей жизни и, наконец, что мы можем предаваться всяким отступлениям и излишествам в некоторые периоды нашего существования безнаказанно для дальнейшей жизни? Я спрашиваю вас, какое мнение составили бы вы себе о человеке, который бы утверждал, что существует одна нравственность для юности, другая для зрелого возраста, третья для старости, и что воспитание имеет значение только для ребенка и юноши. А между тем это именно то, что утверждает ваша философская мораль. Она научает нас тому, что надлежит нам делать сегодня, а о том, что будет с нами завтра, ей и дела нет. А что такое будущая жизнь, если не завтрашний день жизни настоящей? Все это приводит нас к такому заключению:

жизнь духовного существа в целом обнимает собою два мира, из которых только один нам ведом, и так как всякое мгновение жизни неразрывно связано со всей последовательностью моментов, из которых слагается жизнь, то ясно, что собственными силами нам невозможно возвыситься до познания закона, который неизбежно должен относиться к тому и другому миру. Поэтому, закон этот неизбежно должен быть нам преподан таким разумом, для которого существует один единственный мир, единый порядок вещей. Впрочем, не подумайте, что нравственное учение философов не имеет с нашей точки зрения никакой ценности. Мы как нельзя лучше знаем, что оно содержит великие и прекрасные истины, которые долго руководили людьми и которые еще и сейчас с силой отзываются в сердце и в душе. Но мы знаем также, что истины эти не были выдуманы человеческим разумом, но были ему внушены свыше в различные эпохи общей жизни человечества. Это одна из первичных истин, преподанных естественным разумом, и которую разум, проникнутый откровением, лишь освящает своим высшим авторитетом. Хвала земным мудрецам, но слава одному только Богу! Человек никогда не шествовал иначе, как при сиянии божественного света. Свет этот постоянно озарял дорогу человека, но он не замечал того источника, из которого исходил яркий луч, падающий на его путь. Он просвещает, говорит евангелист, всякого человека, приходящего в мир; Он всегда был в мире, но мир его не познал[37]. Привычные представления, усвоенные человеческим разумом под влиянием христианства, приучили нас усматривать идею, раскрытую свыше, лишь в двух великих откровениях — Ветхого и Нового Завета, и мы забываем о первоначальном откровении. А без ясного понимания этого первого общения духа Божьего с духом человеческим ничего нельзя понять в христианстве. Христианин, не находя в собственном своем учении разрешения великой загадки душевного бытия, естественно приводится к учению философов. А между тем, философы способны объяснять человека только через человека: они отделяют его от Бога и внушают ему мысль о том, будто он зависит только от себя самого. Обычно думают, что христианство не объясняет всего, что нам надлежит знать. Считают, что существуют нравственные истины, которые может нам преподать одна только философия: это великое заблуждение. Нет такого человеческого знания, которое способно было бы заменить собою знание божественное. Для христианина все движение человеческого духа не что иное, как отражение непрерывного действия Бога на мир. Изучение последствий этого движения дает ему в руки лишь новые доводы в подтверждение его верований. В различных философских системах, во всех усилиях человека христианин усматривает лишь более или менее успешное развитие духовных сил мира сообразно различным состояниям и различным возрастам обществ, но тайну назначения человека он открывает не в тревожном и неуверенном колебании человеческого разума, а в символах и глубоких образах, завещанных человечеству учениями, источник которых теряется в лоне Бога. Он следит за учением, в которое постепенно выливалась земная мысль, и чтобы найти там более или менее заметные следы первоначальных наставлений, преподанных человеку самим Создателем в тот день, когда он его творил своими руками; он размышляет об истории человеческого духа, чтобы найти в ней сверхприродные озарения, не перестававшие просвещать без его ведома человеческий разум, пронизывая весь тот туман, весь тот мрак, которым этот разум так охотно себя окружает. Всюду узнает он эти всеильные и неизгладимые идеи, нисшедшие с неба на землю, без которых человечество давно бы запуталось в своей свободе. И наконец, он знает, что опять-таки благодаря этим самым идеям разум человеческий мог воспринять более совершенные истины, которые Бог

соблаговолил сообщить ему в более близкую нам эпоху. И поэтому, далекий от попыток овладеть всеми заключающимися в мозгу человека измышлениями, он стремится лишь как можно лучше постигнуть пути господни во всемирной истории человечества. Он влечется к одной только небесной традиции; искажения, внесенные в нее людьми, для него дело второстепенное. И тогда он неизбежно понимает, что есть надежное правило, как среди всего необъятного океана человеческих мнений отыскать корабль спасения, неизменно направляющий путь по звезде, данной ему для руководства: и звезда эта вечно сияет, никогда не заслоняло ее никакое облако; она видима для всех глаз, под любым небом; она пребывает над нашей головой и днем и ночью. И если только ему единожды доказано, что весь распорядок духовного мира есть следствие удивительного сочетания первоначальных понятий, брошенных самим Богом в нашу душу, с воздействием нашего разума на эти идеи, ему станет также ясно, что сохранение этих основ, их передача из века в век, от поколения к поколению определяется особыми законами, и что есть, конечно, какие-то видимые признаки, по которым можно распознать среди всех святынь, рассеянных по земле, ту, в которой, как в святом ковчеге, содержится неприкосновенное средоточие истины. Сударыня! Ранее, чем мир созрел для восприятия новых озарений, которые должны были однажды на него излиться, и то время как заканчивалось воспитание человеческого рода развитием всех его собственных сил, смутное, но глубокое чувство позволяло время от времени немногим избранникам провидеть яркий след светила правды, которое проходило по своей орбите. Так Пифагор, Сократ, Зороастр и в особенности Платон узрели неизреченное сияние, и чело их озарено было необычайным отблеском. Их взоры, обращенные на ту точку, откуда должно было взойти новое солнце, до некоторой степени предвидели его восход. Но они не смогли возвыситься до познания подлинных признаков абсолютной истины, потому что с той поры, как человек изменил свою природу, истина нигде не проявлялась <для него> во всем своем блеске, и невозможно было ее распознать сквозь скрывающий ее туман. Напротив, в новом мире, если человек все еще не распознает эти признаки, то это только добровольное ослепление: если он сбивается с пути праведного, то это не что иное, как преступное подчинение темному началу, оставленному в его сердце с единой целью сделать более действенным его единение с истиной. Вы, конечно, предвидите, сударыня, к чему клонится все это рассуждение: само собой приходит на ум, каковы будут вытекающие из него последствия. В дальнейшем мы ими и займемся. Я уверен, что вы овладеете ими без труда. Впрочем, мы не станем более прерывать свою мысль такими отступлениями, которые на этот раз встретились на нашем пути, и сможем беседовать более последовательно и методично. Прощайте, сударыня[38].

## ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

*Absorpta est mors ad victoriam*  
<Поглощена смерть победою>[39]

Размышления наши о религии перешли в философское рассуждение, а оно вернуло нас слова к религиозной идее. Теперь станем опять на философскую точку зрения: мы ее не исчерпали. Рассматривая религиозный вопрос в свете чистого умозрения, мы религией лишь завершаем вопрос философский. К тому же, как бы ни была

сильна вера, разум должен уметь опираться на силы, заключенные в нем самом. Есть души, в которых вера непременно должна в случае необходимости найти доводы в разуме. Мне кажется, это как раз ваш случай. Вы слишком сроднились со школьной философией, вера ваша слишком недавнего происхождения, привычки ваши слишком далеки от той замкнутой жизни, в которой простое благочестие само себя питает и собой довольствуется; вы поэтому не сможете руководствоваться одним только чувством. Вашему сердцу без размышлений не обойтись. Правда, в чувстве таится много озарений, сердцу несомненно присущи великие силы; но чувство действует на нас временно, и вызываемое им волнение не может длиться постоянно. Наоборот, добытое рассуждением остается всегда с нами. Продуманная идея нас никогда не покидает, каково бы ни было наше душевное настроение, между тем как идея, только прочувствованная, все время убегает от нас и изменяется: все зависит от силы, с какой бьется наше сердце. А сверх того, сердца не даются по выбору: какое уж у тебя есть, с тем и приходится мириться, разум же свой мы сами постоянно сознаем. Вы утверждаете, что от природы расположены к религиозной жизни. Я часто думал об этом, и мне кажется, вы ошибаетесь. За природную потребность вы принимаете вызванное случайными обстоятельствами неопределенное чувство, мечтательную прихоть воображения. Нет, не так, не с таким беспокойным пылом отдаются настоящему призванию, раз оно найдено в жизни; тогда принимают судьбу свою с твердой решимостью, со спокойной уверенностью. Конечно, можно и даже должно себя переделывать; для христианина уверенность в такой возможности и сознание своего долга в этом отношении предмет веры и самое важное из чаяний. Христианское учение рассматривает совокупность всего на основе возможного и необходимого перерождения нашего существа, и именно к этому должны быть направлены все наши усилия. Но пока мы не почувствовали, что наша ветхая природа растворяется и что зарождается в нас новый человек, созданный Христом, мы должны использовать все средства, чтобы приблизить этот желанный переворот: ведь он и не может наступить, пока мы на это не направим целиком все свои силы. Впрочем, как вы знаете, мы не собираемся здесь исследовать философию во всем ее объеме; задача наша скромнее: раскрыть не то, что содержится в философии, а скорее то, чего в ней нет. Надеюсь, это не окажется выше наших сил. Для религиозной души это единственное средство понимать и обращать себе на пользу человеческую науку, но в то же время надо знать, в чем состоит эта наука, ничего не упустить и по возможности все в ней рассмотреть с точки зрения наших верований. Монтень сказал: *L'obeir est le progrre office d'une ame raisonnable, reconnaissant ип celeste superieur et bienfaiteur*[40]. Как вы знаете, он не считается умом, склонным к вере; включим же на сей раз эту мысль скептика в наш текст: подчас хорошо завербовать себе союзников из вражьего стана; это соответственно ослабляет силы противной стороны. Прежде всего, нет иного разума, кроме разума подчиненного; это без сомнения так; но это еще не все. Взгляните на человека; всю жизнь он только и делает, что ищет, чему бы подчиниться. Сначала он находит в себе силу, признаваемую им отличною от силы, определяющей движение, происходящее вне его; он ощущает жизнь в себе; в то же время он убеждается, что эта сила не безгранична; он ощущает собственное ничтожество; тогда он замечает, что вне его стоящая сила над ним властвует и что он вынужден ей подчиниться, в этом вся его жизнь. С самого первого пробуждения разума понимание того, что существуют две силы: одна — внутри нас находящаяся и несовершенная, другая — вне нас стоящая и совершенная, — само собой проникает в сознание человека. И хотя оно доходит до нас не в таких ясных и определенных очертаниях, как понимание, сообщаемое

нашими чувствами или переданное нам при сношениях с другими людьми, все же все наши идеи о добре, долге, добродетели, законе, а также и им противоположные, рождаются только от этой ощущаемой нами потребности подчиниться тому, что зависит не от нашей преходящей природы, не от волнений нашей изменчивой воли, не от увлечений наших тревожных желаний. Вся наша активность есть лишь проявление силы, заставляющей нас стать в порядок общий, в порядок зависимости. Соглашаемся ли мы с этой силой, или противимся ей, — все равно, мы вечно под ее властью. Поэтому нам остается только стараться дать себе возможно верный отчет в ее действии на нас и, раз мы что-либо об этом узнали, отдаться ей со спокойной верой: эта сила, без нашего ведома действующая на нас, никогда не ошибается, она то и ведет вселенную к ее предназначению. Итак, в чем состоит главный вопрос жизни? Как открыть действие верховной силы на наше существование? Так понимаем мы первооснову мира духовного и, как видите, она вполне соответствует первооснове мира физического. Но первооснова мира физического кажется нам непреодолимой силой, которой все неизбежно подчиняется, а другая представляется лишь силой, действующей в сочетании с нашей собственной силой и до некоторой степени видоизменяемой последней. Таков логический вид, придаваемый миру нашим искусственным разумом. Но этот искусственный разум, которым мы своевольно заменили уделенную нам изначала долю разума мирового, этот злой разум, столь часто извращающий предметы в наших глазах и заставляющий нас видеть их вовсе не такими, каковы они на самом деле, все же не в такой мере затемняет абсолютный порядок вещей, чтобы лишить нас способности признать главенство подчиненности над свободой и зависимость устанавливаемого нами для себя закона — от общего закона мирового. Поэтому разум этот отнюдь не препятствует нам, принимая свободу, как данную реальность, признавать зависимость подлинной реальностью духовного порядка, точно так же, как и порядка физического. Итак, все силы ума, все его сродства познания основываются лишь на его покорности. Чем более он себя подчиняет, тем он сильнее. И перед человеческим разумом стоит один только вопрос: знать, чему он должен подчиниться. Как только мы нарушим это верховное правило всякой деятельности, умственной и нравственной, так немедленно впадем в грех произвольного рассуждения или воли. Назначение настоящей философии только в том и состоит, чтобы сперва доказать это положение, а затем показать, откуда исходит тот свет, который нами должен руководить в жизни. Отчего, например, ни в одном из своих действий разум не возвышается до такой степени, как в математических исчислениях? Что такое исчисление? Умственное действие, механическая работа ума, в которой рассуждающей воле нет места. Откуда эта чудодейственная мощь анализа в математике? Дело в том, что ум здесь действует в полном подчинении данному правилу. Отчего так много дает наблюдение в физике? Оттого, что оно преодолевает естественную склонность человеческого разума и дает ему направление, диаметрально противоположное обычному ходу мысли: оно ставит разум по отношению к природе в смиренное положение, ему присущее[3]. Каким образом достигла своей высокой достоверности натурфилософия[41]? Сводя разум до совершенно подчиненной негативной деятельности. Наконец, в чем действие блестящей логики, сообщившей этой философии такую исполинскую силу? Она сковывает разум, она подводит его под всемирное ярмо повиновения и делает его столь же слепым и подвластным, как та самая природа, которую он исследует. Единый путь, говорит Бэкон, отверстый человеку для владычества над природой, есть тот самый, который ведет в царство небесное: войти туда можно лишь в смиренном образе ребенка[4]. Далее. Что такое

логический анализ, как не насилие разума над самим собою? Дайте разуму волю, и он будет действовать одним синтезом[42]. Аналитическим путем мы можем идти лишь с помощью чрезвычайных усилий над самими собой: мы постоянно сбиваемся на естественный путь, путь синтеза. С синтеза и начал человеческий разум, и именно синтез есть отличительная черта науки древних. Но как ни естественен синтез, как он ни законен, и часто далее более законен, чем анализ, несомненно все же — к наиболее деятельным проявлениям мысли принадлежат именно процессы подчинения, анализа. С другой стороны, всмотревшись в дело внимательно, находим, что величайшие открытия в естественных науках — чистые интуиции, совершенно спонтанные, т.е. что они проистекают из синтетического начала. Но заметьте, что хотя интуиция разума и является одним из самых деятельных его орудий, мы все же не можем дать себе в ней полного отчета, как в других наших способностях. Дело в том, что мы не просто-напросто владеем ею, как другими способностями; в этой способности есть нечто, принадлежащее высшему разуму, ей дано лишь отражать этот высший разум в нашем. И потому-то мы и обязаны интуиции самыми блестящими нашими озарениями. Таким образом, ясно, что человеческий разум не достигает самых положительных своих знаний чисто внутренней своею силой, а направляется непременно извне. Следовательно, настоящая основа нашей умственной мощи в сущности не что иное, как своего рода логическое самоотречение, однородное с самоотречением нравственным и вытекающее из того же закона. Впрочем, природа представляет собой не только материал для опыта и наблюдения, но также и образец для рассмотрения. Всякое природное явление есть силлогизм с большей и меньшей посылками и выводами. Следовательно, сама природа внушает уму метод, которым он должен пользоваться для ее познания; стало быть, и тут он только повинуетя закону, который перед ним раскрывается в самом движении вещей. Таким образом, когда древние, стоики, с их блестящими предчувствиями толковали о подражании природе, о повиновении ей, о согласованности с ней, они, находясь еще гораздо ближе нас к началу всех вещей и не разбив еще, подобно нам, мира на части, лишь провозглашали это основное начало духовной природы, именно то, что никакая сила, никакой закон не создаются нами из себя. Что касается побуждающего нас действовать начала, которое есть не что иное, как желание собственного блага, то к чему бы пришел род человеческий, если бы понятие об этом благе было одной лишь выдумкой нашего разума? Что ни век, что ни народ имели бы тогда о нем свою особую идею. Как могло бы человечество в целом шествовать вперед в своем беспредельном прогрессе, если бы в сердце человека не было одного мирового понятия о благе, общего всем временам и всем странам и, следовательно, не человеком созданного? В силу чего наши действия становятся нравственными? Не делает ли их таковыми то повелительное чувство, которое заставляет нас покоряться закону, уважать истину? Но ведь закон только потому и закон, что он не от нас исходит; истина потому и истина, что она не выдумана нами. Мы иногда устанавливаем правило поведения, отступающее от должного, но это лишь потому, что мы не в силах устранить влияние наших склонностей на наше суждение; в этих случаях нам предписывают закон наши склонности, а мы ему следуем, принимая его за общий мировой закон. Конечно, есть и такие люди, которые как будто без всяких усилий сообразуются со всеми предписаниями нравственности; таковы некоторые выдающиеся личности, которыми мы восхищаемся в истории. Но в этих избранных душах чувство долга развилось не через мышление, а через те таинственные побуждения, которые управляют людьми помимо их сознания, в виде великих наставлений, которые мы, не ища их, находим в самой жизни и



которые гораздо сильнее нашей личной мысли, являющейся частью мысли, общей всем людям: ум бывает поражен то примером, то счастливым стечением обстоятельств, поднимающих нас выше самих себя, то благоприятным устройством всей жизни, заставляющими нас быть такими, какими мы без этого никогда бы не были; все это живые уроки веков, которыми причудливо наделяются по неведомому нам закону определенные личности; и если вульгарная психология не отдает себе отчета в этих таинственных пружинах духовного движения, то психология более углубленная, принимающая наследственность человеческой мысли за первое начало духовной природы, находит в этом разрешение большей части своих вопросов[43]. Так, если героизм добродетели или вдохновение гения и не вытекали из мысли отдельного человека, они являются все же плодом мысли протекших веков. И все равно, мыслили мы или не мыслили, кто-то уже мыслил за нас еще до нашего появления на свет; в основе всякого нравственного действия, каким бы оно ни казалось спонтанным и самостоятельным, всегда лежит, следовательно, чувство долга, а тем самым — и подчинения. Теперь посмотрим, что бы вышло, если бы человек мог довести свою подчиненность до совершенного лишения себя своей свободы[44]. Из только что сказанного ясно, что это было бы высшей ступенью человеческого совершенства. Ведь всякое движение души его вызывалось бы тем самым началом, которое производит все другие движения в мире. Тогда исчез бы теперешний его отрыв от природы и он бы слился с нею. Ощущение своей собственной воли выделяет его теперь из всеобщего распорядка и делает из него обособленное существо; а тогда в нем бы проснулось чувство мировой воли, или говоря иными словами, — внутреннее ощущение, глубокое сознание своей действительной причастности ко всему мирозданию. Теперь он проникнут своей собственной обособляющей идеей, личным началом, разобщающим его от всего окружающего и затуманивающим в его глазах все предметы; но это отнюдь не составляет необходимого условия его собственной природы, а есть только следствие его насильственного отчуждения от природы всеобщей, и если бы он отрешился от своего нынешнего пагубного Я, то разве он не нашел бы вновь и идею, и всеобъемлющую личность, и всю мощь чистого разума в его изначальной связи с остальным миром? И разве тогда все еще стал бы он ощущать себя живущим этой мелочной и жалкой жизнью, которая его побуждает относить все к себе и глядеть на мир только через призму своего искусственного разума? Конечно нет, он начал бы жить жизнью, которую даровал ему сам Господь Бог, в тот день, когда он извлек его из небытия. Вновь обрести эту исконную жизнь и предназначено высшему напряжению наших дарований. Один великий гений[45] когда-то сказал, что человек обладает воспоминанием о какой-то лучшей жизни: великая мысль, не напрасно брошенная на землю; но вот чего он не сказал, а что сказать следовало, — но здесь лежит предел, которого не мог переступить ни этот блестящий гений, ни какой-либо другой в ту пору развития человеческой мысли, — это то, что утраченное и столь прекрасное существование может быть нами вновь обретено, что это всецело зависит от нас и не требует выхода из мира, который нас окружает. Время и пространство — вот пределы человеческой жизни, какова она ныне. Но прежде всего, кто может мне запретить вырваться из удушающих объятий времени? Откуда почерпнул я самую идею времени? — Из памяти о прошедших событиях. Но что же такое воспоминание? — Не что иное, как действие воли: это видно из того, что мы помним не более того, что желаем вспомнить; иначе весь ряд событий, сменявшихся на протяжении моей жизни, оставался бы постоянно в моей памяти, теснился бы без перерыва у меня в голове; а между тем, наоборот, даже в то время, когда я даю полную свободу своим мыслям я воспринимаю лишь

реминисценции, соответствующие данному состоянию моей души, волнующему меня чувству, занимающей меня мысли. Мы строим образы прошлого точно так же, как и образы будущего. Что же мешает мне отбросить призрак прошлого, неподвижно стоящий позади меня, подобно тому, как я могу по желанию уничтожить колеблющееся видение будущего, парящее впереди, и выйти из того промежуточного момента, называемого настоящим, момента столь краткого, что его уже нет в то самое мгновение, когда я произношу выражающее его слово? Все времена мы создаем себе сами, в этом нет сомнения; Бог времени не создал; он позволил его создать человеку. Но в таком случае, куда делось бы время, эта пагубная мысль, обступающая и гнетущая меня отовсюду? Не исчезнет ли оно совершенно из моего сознания, не рассеется ли без остатка мнимая его реальность, столь жестко меня подавляющая? Моему существованию нет более предела; нет преград видению безграничного; мой взор погружается в вечность; земной горизонт исчез; небесный свод не упирается в землю на краях безграничной равнины, стелющейся перед моими глазами; я вижу себя в беспредельном пребывании, не разделенном на дни, на часы, на мимолетные мгновения, но в пребывании вечно едином, без движения и без перемен, где все отдельные существа исчезли друг в друге, словом, где все пребывает вечно. Всякий раз, как дух наш успевает сбросить с себя оковы, которые он сам же себе и выковал, ему доступен этот род времени, точно так, как и тот, в котором он ныне пребывает. Зачем устремляется он постоянно за пределы непосредственной смены вещей, измеряемой монотонными колебаниями маятника? Зачем кидается он беспрестанно в иной мир, где не слышен роковой бой часов? Дело и том, что беспредельность есть естественная оболочка мысли; в ней-то и есть единственное, истинное время, а другое — мы создаем себе сами, а для чего — не знаю. Обратимся к пространству: но ведь всем известно, что мысль не пребывает в нем; она логически приемлет условия осязаемого мира, но сама она в нем не обитает. Какую бы, следовательно, реальность ни придавали пространству, это факт вне мысли, и у него нет ничего общего с сущностью духа; эта форма, пускай неизбежная, но все же лишь одна форма, в которой нам представляется внешний мир. Следовательно, пространство еще менее, чем время, может закрыть путь в то новое бытие, о котором здесь идет речь. Так вот та высшая жизнь, к которой должен стремиться человек, жизнь совершенства, достоверности, ясности, беспредельного знания, но прежде всего — жизнь совершенной подчиненности; жизнь, которой он некогда обладал, но которая ему также обещана и в будущем. А знаете ли вы, что это за жизнь? Это Небо: и другого неба помимо этого нет. Вступить в него нам позволено отныне же сомнений тут быть не должно. Ведь это не что иное, как полное обновление нашей природы в данных условиях, последняя грань усилий разумного существа, конечное предназначение духа в мире. Я не знаю, призван ли каждый из нас вступить на это поприще, достигнет ли он его славной конечной цели, но то, что предельной точкой нашего прогресса только и может быть полное слияние нашей природы с природой всего мира, это я знаю, ибо только таким образом может наш дух вознестись к полному совершенству, а это и есть подлинное выражение высшего разума[5]. [Но пока мы еще не достигли предела нашего паломничества, до того как совершится это великое слияние нашего существа с существом всемирным, не можем мы по крайней мере раствориться в мире духовном? Разве не в нашей власти в любой степени отождествлять себя с подобными нам существами? Мы ведь способны усваивать себе их нужды, их выгоды, приспособляться к их чувствам так, чтобы, в конце концов, жить только для них и чувствовать только через них. Это без сомнения верно. Как бы вы ни

называли эту нашу удивительную способность сливаться с тем, что происходит вокруг нас, — симпатией, любовью, состраданием — она во всяком случае присуща нашей природе. Мы при желании можем до такой степени сродниться с нравственным миром, что все совершающееся в нем и нам известное мы будем переживать как происходящее с нами; более того, если даже мировые события нас и не очень заботят, довольно одной уже общей, но глубокой мысли о делах других людей: одного только внутреннего сознания нашей действительной связи с человечеством, чтобы заставить наше сердце сильнее биться в такт с судьбою всего человеческого рода, а все наши мысли и все наши поступки сливать с мыслями и поступками всех людей в одно созвучное целое. Воспитывая это замечательное свойство нашей природы, все более и более развивая его в душе, мы достигаем таких высот, с которых целиком раскроется перед нами остальная часть всего предстоящего нам пути; и благо тем из смертных, кто, раз поднявшись на эту высоту, сумеет на ней удержаться, а не низринется вновь туда, вниз, откуда началось его восхождение! Все существование наше до тех пор было непрерывным колебанием между жизнью и смертью, длительной агонией; тут началась настоящая жизнь, с этого часа от нас, одних зависит идти по пути правды и добра, ибо с этой поры закон духовного мира перестал быть для нас непроницаемой тайной][46]. Но так ли протекает жизнь кругом нас? Совсем наоборот. Закон духовной природы обнаруживается в жизни поздно и неясно, но, как вы видите, его вовсе не приходится измышлять, как и закон физический. Все, что нам доступно, это — иметь душу, раскрытую для этого познания, когда оно предстанет перед нашим умственным взором. В обычном ходе жизни, в повседневных заботах нашего ума, в привычной дремоте души нравственный закон проявляется гораздо менее явственно, чем закон физический. Правда, он над нами безраздельно господствует, определяет каждое наше действие, каждое движение нашего разума, но вместе с тем, сохраняя в нас посредством какого-то дивного сочетания, через непрерывно длящееся чудо[47], сознание нашей собственной деятельности, он налагает на нас грозную ответственность за все, что мы делаем, за каждое биение нашего сердца, даже за каждую мимолетную мысль, едва затронувшую наш ум; и несмотря на это, он ускользает от нашего разумения в глубочайшем мраке. Что же происходит? Не зная истинного, двигателя, бессознательным орудием которого он служит, человек создает себе свой собственный закон, и этот-то закон, который он по своему почину себе предписывает, и есть то, что он называет нравственный закон, иначе — мудрость, высшее благо, или просто закон, или еще иначе[6]. И этому-то хрупкому произведению собственных рук, произведению, которое он может по произволу разрушить и действительно ежедневно и ежеминутно разрушает, человек приписывает в своем ослеплении все положительное, абсолютное, все непреложное, присущее настоящему закону его бытия, а между тем, при помощи одного только своего разума, он, очевидно, мог бы постигнуть относительно этого сокровенного начала одну лишь его неизбежную необходимость — ничего более. Впрочем, хотя нравственный закон пребывает вне нас и независимо от нашего знания его, совершенно так, как и закон физический, есть все же существенное различие между этими двумя законами. Бесчисленное множество людей жило и теперь еще живет без малейшего понятия о вещественных движущих силах природы; Бог восхотел, чтобы человеческий разум открывал их самостоятельно и постепенно. Но каким бы отсталым ни было разумное существо, как бы ни были ограничены его способности, оно всегда имеет некоторое понятие о начале, побуждающем его действовать. Чтобы размышлять, чтобы судить о вещах, необходимо иметь понятие о добре и зле[48]. Отнимите у человека это понятие, и

он не будет ни размышлять, ни судить, он не будет существом разумным. Этого понятия Бог не мог лишить нас ни на мгновение; он нас и создал с ним. И эта-то несовершенная идея, непостижимым образом вложенная в нашу душу, составляет всю сущность разумного человека. Вы только что видели, что можно было бы извлечь из этой идеи, если бы удалось восстановить ее в ее первоначальной чистоте, как она была нам сообщена изначально; следует, однако, рассмотреть и то, чего можно достичь, если отыскивать начало всех наших познаний единственно в собственной нашей природе. Сокольники, 1 июня[49].

## ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Воля есть не что иное, как род мышления. Представлять ли себе волю конечную или бесконечную, все равно приходится признать некую причину, которая заставляет ее действовать: поэтому ее должно рассматривать не как начало свободное, а как начало обусловленное Спиноза De anima[50] Как мы видели, всякое естественное явление можно рассматривать как силлогизм; но его можно также рассматривать как число. При этом или заставляют природу выразиться в числе и рассматривают ее в действии — это наблюдение, или исчисляют в отвлечении — это вычисление; или же, наконец, за единицы принимаются найденные в природе величины, и производят вычисления над ними; в этом случае применяют вычисление к наблюдению и этим пополняют науку. Вот и весь круг положительного знания. Необходимо только иметь в виду, что количеств как таковых в природе не существует; если бы они там были, то аналитический вывод был бы равнозначным божественному Fiat, ибо совершенная достоверность его не была ничем ограничена и, следовательно, была бы всемогуществом[7]. Бессилие то же, что заблуждение; выше совершенной истины нет ничего. Действительные величины, т.е. абсолютные единицы, имеются лишь в нашем уме; во вселенной находятся лишь числовые видимости. Эти видимости, в форме которых материальность открывается нашим взорам, они-то и дают нам понятие о численности: вот основа математического восприятия. Итак, числовое выражение предметов не что иное, как мыслительный механизм, который мы создаем из данных природы. Сначала мы переводим эти данные в область абстракции, затем мы их воспринимаем как величины; и, наконец, поступаем с ними по своему усмотрению. Математическая достоверность, следовательно, имеет также свой предел; будем остерегаться упустить это из виду. В применении к явлениям природы наука чисел без сомнения вполне достаточна для эмпирического познания, а также и для удовлетворения материальных нужд человека; но никак нельзя сказать, чтобы она в той же мере соответствовала требуемой умом достоверности в абстрактном познании. Устойчивое, неподвижное, геометрическое рассуждение, каким его по большей части воспринимают геометры, есть нечто, лишенное разума, безбожное. Если бы в математике заключалась совершенная достоверность, число было бы чем-то реальным. Так понимали его, например, пифагорейцы[51], каббалисты[52] и им подобные, приписывавшие числам свойства разного рода и находившие в них начало и сущность всех вещей. Они были вполне последовательны, так как мыслили природу состоящей из числовых величин, и ни о чем другом не помышляли. Но мы видим еще в природе кое-что, кроме цифр, мы с полным сознанием верим в Бога и когда мы осмеливаемся вкладывать в руку Создателя циркуль, то допускаем нелепость; мы забываем, что мера и предел одно

и то же, что бесконечность есть первое из свойств божества, именно она, можно сказать, и составляет его божественность, так что, превращая Высшее Существо в геометра, мы лишаем его свойственной ему вечной природы и низводим его до нашего уровня. Бессознательно мы еще находимся под властью языческих представлений, почему и впадаем в такого рода заблуждения. Число не могло заключаться в божественной мысли; творения истекают из Бога, как воды потока, без меры и конца, но человеку необходима точка соприкосновения между его ограниченным разумом и бесконечным разумом Бога, разделенными беспредельностью, и вот почему он так любит замыкать божественное всемогущество в размеры собственной природы. Здесь мы видим настоящий антропоморфизм, в тысячу раз более вредный, нежели антропоморфизм простаков, не способных в своем пламенном устремлении приблизиться к Богу и представить себе духовное существо иным, что то, которое доступно их пониманию, и поэтому низводящих божество до существа, подобного себе. В сущности и философы поступают не лучше. "Они приписывают Богу, — сказал великий мыслитель, который в этом хорошо разбирался, — разум, подобный их собственному. Почему? Потому что они в своей природе не знают ничего лучше собственного разума. А между тем божественный разум есть причина всего, разум человека есть лишь следствие; что же может быть общего между тем и другим? Разве то же, прибавляет он, — что между созвездием Пса, сияющим на небе, и тем псом, который бежит по улице, — одно только имя"[8]. Как видите, все положительное в науках, называемых точными, исходит из того, что они занимаются количествами; иными словами, предметами ограниченными. Естественно, что ум, имея возможность полностью объять эти предметы, достиг в познании их высочайшей достоверности, ему доступной. Но вы видите также и то, как ни значительно прямое наше участие в создании этих истин, мы их все же не из себя извлекаем. Первые идеи, из которых истекают эти истины, даны нам извне. Итак, вот какие логические следствия вытекают сразу из самой природы этих познаний, наиболее близких к доступной нам достоверности: они относятся лишь к чему-то ограниченному, они не рождаются непосредственно в нашем мозгу; мы в этой области понятий развиваем наши способности лишь по отношению к конечному и мы здесь ничего не выдумываем. Так что те мы найдем, если захотим приложить правила, усвоенные при приобретении этих познаний, к познаниям другого рода? Что абсолютная форма познанного предмета, каков бы он ни был, должна быть непременно формой чего-то конечного; что место его в познавательной области должно находиться вне нас. Ведь именно таковы естественные условия достоверности. А в каком положении, исходя из этого, окажемся мы по отношению к предметам в области духовной? Прежде всего, где предел данных, входящих в область психологии и морали? Предела нет. Затем, где совершается моральное действие? В нас самих. Итак, тот прием, который применяется разумом в области положительных понятий, может ли быть им использован в этой другой области? Отнюдь нет. Но, в таком случае, как достигнуть очевидности? Что касается меня, я этого не знаю[53]. Странно то, что, как ни просто это рассуждение, философия никогда до него не доходила. Никогда она не решалась отчетливо установить это существенное различие двух областей человеческого знания; она всегда смешивала конечное с бесконечным, видимое с невидимым, поддающееся восприятию чувств с неподдающимся. Если иногда она и говорила другое, в глубине своей мысли она никогда не сомневалась, что мир духовный можно познать так же, как и мир физический, изучая его с циркулем в руке, вычисляя, измеряя величины духовные, как и материальные, производя опыты над существом, одаренным разумом, как над существом неодушевленным.

Удивительно, как ленив человеческий разум! Чтобы избавиться от труда, которого требует ясное уразумение высшего мира, он искажает этот мир, он себя самого искажает и шествует затем своим путем, как ни в чем не бывало. Мы еще увидим, почему он так поступает[54]. Не надо думать к тому же, будто в естественных науках все сводится к наблюдению и опыту. Одна из тайн их блестящих методов — в том, что наблюдению подвергают именно то, что может на самом деле стать предметом наблюдения. Если хотите, это начало отрицательное, но оно сильнее, плодотворнее положительного начала. Именно этому началу обязана своим успехом новая химия; это начало очистило общую физику от метафизики и со времен Ньютона сделалось ее главным правилом и основанием ее метода. А что это означает? Не иное что, как то, что совершенство этих наук, все их могущество проистекает из умения всецело ограничить себя принадлежащей им по праву областью. Вот и все. А в чем состоит самый процесс наблюдения? Что делаем мы, когда наблюдаем движение светил на небесном своде или движение жизненных сил в организме: когда мы изучаем силы, движущие тела или сотрясающие молекулы, из коих тела состоят; когда занимаемся химией, астрономией, физикой, физиологией? Мы делаем вывод из того, что было относительно того, что будет; связываем факты, следующие в природе непосредственно друг за другом, и выводим из этого ближайшее заключение. Вот неизбежный путь опытного метода. Но, в порядке нравственном, известно ли вам что-нибудь, что бы совершилось в силу постоянного, неотвратимого закона, по которому вы могли бы делать заключение, как там, от одного факта к другому и предугадывать таким образом с уверенностью последующее на основании предшествующего? Ни в коем случае. Напротив, здесь совершается все лишь в силу свободных актов воли, не связанных между собою, не подчиненных другому закону, кроме своей прихоти; одним словом, все сводится здесь к действию хотения и свободы человека. К чему бы здесь был метод опытный? Ровно ни к чему. Вот чему, в сфере тех познаний, где ему дана возможность достигнуть своей высшей достоверности, учит нас естественный ход[55] человеческого разума. Перейдем к поучению, которое вытекает из самого содержания этих познаний. Положительные науки были, разумеется, всегда предметом изучения, но, как вы знаете, лишь лет сто тому назад они сразу возвысились до теперешнего их состояния. Три открытия сообщили им толчок, вознесший их на эту высоту: анализ создание Декарта, наблюдение — а создание Бэкона[56] и небесная геометрия — создание Ньютона[57]. Анализ ограничивается областью математики и нас здесь не касается; заметим только, что он вызвал приложение начала необоснованной принудительности и к нравственным наукам, а это сильно повредило их успехам. Новый способ изучать естественные науки, открытый Бэконом, имеет величайшую важность для всей философии, ибо он придал ей эмпирическое направление, которое надолго определило весь строй современной мысли. Но в настоящем нашем исследовании нас особенно занимает закон, в силу которого все тела тяготеют к одному общему центру; этим законом мы и займемся. С первого взгляда кажется, будто все силы природы сводятся к всемирному тяготению; а между тем эта сила природы отнюдь не единственная; и именно поэтому закон, которому природа подвластна, имеет на наш взгляд такой глубокий смысл. Само по себе притяжение не только не объясняет всего в мире, но оно вообще ничего еще не объясняет. Если бы оно одно действовало, то вся вещественность обратилась бы в одну бесформенную и инертную массу. Всякое движение в природе производится двумя силами, возбуждающими в движимом стремление в двух противоположных направлениях, и в космическом движении эта истина проявляется всего явственнее. А между тем, астрономы, удостоверившись,

что тела небесные подлежат закону тяготения и что действия этого закона могут быть вычислены, с точностью, превратили всю систему мира в геометрическую задачу, и теперь самый общий закон природы воспринимают при помощи некоторого рода математической фикции, под одним именем Притяжения, или Всемирного Тяготения. Но есть другая сила, без которой тяготение ни к чему бы не привело: это Начальный толчок, или Отталкивание (Projection)[58]. Итак, вот две движущие силы природы: Тяготение и Отталкивание. На отчетливой идее совокупного действия этих двух сил, как она нам дается наукой, покоится все учение о Параллелизме двух миров: сейчас нам приходится только применить эту идею к сочетанию тех двух сил, которые нами ранее установлены в духовной области, одной — силы, признаваемой нами, — это наша свободная воля, наше хотение, другой, нами не признаваемой, — это действие на наше существо некоей вне нас лежащей силы, и затем посмотреть, каковы будут последствия[9]. Нам известно Притяжение во множестве его проявлений; оно беспрестанно обнаруживается перед нашими глазами; мы его измеряем; мы имеем о нем знание вполне достоверное. Все это, как Вы видите, точно соответствует представлению, которое мы имеем о нашей собственной силе, о толчке мы знаем только <его абсолютную необходимость; и совершенно то же знаем мы и> о божественном его действии на нашу душу. И тем не менее мы одинаково убеждены в существовании как той, так и другой силы. Итак, в обоих случаях мы имеем: познание отчетливое и точное одной силы, познание смутное и темное — другой, но совершенную достоверность обеих. Таково непосредственное приложение представления о вещественном порядке мира, и вы видите, что оно совершенно естественно является уму. Но должно еще принять во внимание, что астрономический анализ распространяет закон нашей солнечной системы и на все звездные системы, заполняющие небесные пространства, а молекулярная теория принимает его за причину самого образования тел, и что мы имеем полное право почитать закон нашей системы общим едва ли не для всего мироздания; таким образом, эта точка зрения получает чрезвычайно важное значение. Впрочем, все разграничения наши между существами, все произвольно измышляемые нами ради удобства их различия, все это есть ничто в применении к самому творческому началу. Что бы мы ни делали, в нас есть внутреннее ощущение реальности, высшей по сравнению с окружающей нас видимой реальностью. И эта иная реальность не есть ли единственная истинно реальная, реальность объективная, которая охватывает всецело существо и растворяет нас самих во всеобщем единстве? В этом-то единстве и стираются все различия, все пределы, которые устанавливает разум в силу своего несовершенства и ограниченности своей природы: и тогда во всем бесконечном множестве вещей остается одно только действие, единственное и всеобщее. И в самом деле, как внутреннее ощущение нашей собственной природы, так и восприятие вселенной не позволяют нам постигнуть все сотворенное иначе, как в состоянии непрерывного движения. Таково мировое действие. Поэтому в философии идея движения должна предварять всякую другую. Но идею движения приходится искать в геометрии, ибо лишь там мы находим ее очищенной от какой бы то ни было произвольной метафизики и только в линейном движении можем мы воспринять абсолютное значение всякого движения вообще. И что же? Геометр не может себе представить никакого движения, кроме движения сообщенного. Он поэтому принужден исходить из того, что движущееся тело само по себе инертно и что всякое движение есть следствие побуждения со стороны. Итак, и в наивысшем отвлечении, и в самой природе мы постоянно возвращаемся к какому-то действию (action), внешнему и первичному, независимо от рассматриваемого предмета. Стало

быть, идея движения сама по себе, по неумолимому требованию логики, вызывает представление о таком действии, которое отлично от всякой силы и от всякой причины, находящихся в самом движущемся предмете. И вот почему, к тому не, человеческому разуму так трудно освободиться от старого заблуждения, будто все идеи возникают в нем через внешние чувства[59]. Все дело в том, что в мире нет ничего, в чем мы были бы более склонны сомневаться, чем в присущей нам самостоятельной силе, и несостоятельность системы сенсуалистов именно в том, что система эта приписывает вещественному непосредственное воздействие на невещественное и таким образом заставляет тела сталкиваться с сознаниями, вместо того, чтобы приводить в соприкосновение предметы одной и той же природы, как в области физической, т.е. одни сознания с другими сознаниями. И, наконец, проникаемся мыслью, что в чистой идее движения вещественность решительно не при чем: все различие между движением материальным и движением в области духовной состоит в том, что элементы первого — пространство и время, а последнего — одно только время; а ведь очевидно, что идея времени уже достаточна для возникновения идеи движения. Итак, закон движения есть закон мировой всеобщности, и то, что мы сказали о физическом движении, вполне применимо к движению умственному или нравственному. Что же должно заключить из всего сказанного? Что нет ни малейшего затруднения принять собственные действия человека за причину случайную (*principe occasionnel*)[60]: за силу, которая действует лишь поскольку она соединяется с другой высшей силой, точно так, как притяжение действует лишь в совокупности с силой отталкивания. Вот то, к чему мы хотели придти. Может быть подумают, что в этой системе нет места для философии нашего Я[61]. И ошибутся. Напротив, эта философия прекрасно уживается с изложенной системой: она только сведена здесь к своей действительной значимости, вот и все. Из того, что мы сказали о двояком действии, управляющем мирами, отнюдь не следует, чтобы наша собственная деятельность сводилась к нулю; значит, должно разобраться в присущей нам власти и пытаться понять ее по возможности правильно. Человек постоянно побуждается силой, которой он не ощущает, это правда; но это внешнее действие имеет на него влияние через сознание, следовательно, как бы ни дошла до меня идея, которую я нахожу в своей голове, нахожу я ее там только потому, что сознаю ее. А сознавать, значит действовать. Стало быть, я действительно и постоянно действую, хотя в то же время подчиняюсь чему-то, что гораздо сильнее меня, — я сознаю[62]. Одно не устраняет другого, одно следует за другим, его не исключая, и первый факт мне так же доказан, как и последний. Вот если меня спросят, как именно возможно такое действие на меня извне, это совсем другой вопрос, и вы, конечно, понимаете, что здесь не время его рассматривать: на него должна ответить философия более высокого порядка. Здравому смыслу[63] следует только установить факт внешнего воздействия и принять его за одно из своих основных верований; остальное его не касается. Впрочем, кто не знает, как чужая мысль вторгается в наше сознание? Как мы подчиняемся мнениям, убеждениям других? Всякий, кто об этом размышлял, отлично понимает, что один разум подчиняется другому и вместе с тем сохраняет всю свою власть, все свои способности. Итак, несомненно, великий вопрос о свободе воли, как бы он ни был запутан, не представлял бы затруднений, если бы умели вполне проникнуться идеей, что природа существа, одаренного разумом, заключается только в сознании и что поскольку одаренное разумом существо сознает, оно не утрачивает ничего из своей природы, каким бы путем сознание в него ни вливалось. Дело в том, что шотландская школа[64], так долго царившая в философском мире, сместила все



вопросы идеологии. Вы знаете, что она берется найти источник всякой человеческой мысли и все объяснить, обнаружив нить, связывающую настоящее представление с представлением предшествовавшим. Дойдя до происхождения известного числа идей путем их ассоциации, заключили, что все совершающееся в нашем сознании происходит на основании того же принципа, и с тех пор не пожелали принимать во внимание ничего другого. Поэтому вообразили, что все сводится к факту осознания, и на этом-то факте была построена вся эмпирическая психология. Но позвольте спросить, разве есть в мире что-либо более согласное с нашим ощущением, нежели происходящая постоянно такая смена идей и нашем мозгу, в которой мы не принимаем никакого участия? Разве мы не твердо убеждены в такой непрерывной работе нашего ума, которая совершается помимо нашей воли? Задача, впрочем, не была бы несколько разрешена, если бы даже и удалось свести все наши идеи к некоторому ограниченному числу их и точно установить их источник. Конечно, в нашем уме не совершается ничего, что не было бы так или иначе связано с совершившимся там ранее; но из этого никак не следует, чтобы каждое изменение моей мысли, форма, которую она поочередно принимает, вызывалось моей собственной властью: здесь, следовательно, имеет место еще огромное действие, совершенно отличное от моего. Итак, эмпирическая теория в лучшем случае устанавливает некоторые явления нашей природы, но о всей совокупности явлений она не дает никакого понятия. Наконец, собственное действие человека исходит действительно от него лишь в том случае, когда оно соответствует закону. Всякий раз, как мы от него отступаем, действия наши определяются не нами, а тем, что нас окружает. Подчиняясь этим чуждым влияниям, выходя из пределов закона, мы себя уничтожаем. Но покоряясь божественной власти, мы никогда не имеем полного сознания этой власти; поэтому она никогда не может попираť нашей свободы. Итак, наша свобода заключается лишь в том, что мы не ощущаем нашей зависимости: этого достаточно, чтобы почесть себя совершенно свободными и солидарными со всем, что мы делаем, со всем, что мы думаем. К несчастью, человек понимает свободу иначе: он почитает себя свободным, говорит Иов, как дикий осленок [65]. Да, я свободен, могу ли я в этом сомневаться? Пока я пишу эти строки, разве я не знаю, что я властен их не писать? Если провидение и определило мою судьбу бесповоротно, какое мне до этого дело, раз его власти я не ощущаю? Но с идеей о моей свободе связана другая ужасная идея, страшное, беспощадное следствие ее — злоупотребление моей свободой и зло как его последствие. Предположим, что одна единственная молекула вещества один только раз приняла движение произвольное, что она, например, вместо стремления к центру своей системы, сколько-нибудь отклонилась в сторону от радиуса, на котором находится. Что же при этом произойдет? Не потрясется ли тотчас весь порядок мироздания? Не сдвинется ли с места всякий атом в бесконечных пространствах? Мало того, все тела стали бы по произволу в беспорядке сталкиваться и взаимно разрушать друг друга. Но что же? Понимаете ли вы, что это самое делает каждый из нас в каждое мгновение? Мы только и делаем, что вовлекаемся в произвольные действия и всякий раз потрясаем все мироздание. И эти ужасные опустошения в недрах творения мы производим не только внешними действиями, но каждым душевным движением, каждой из сокровеннейших наших мыслей. Таково зрелище, которое мы представляем Всевышнему. Почему же он терпит все это? Почему не выметет из пространства этот мир возмущившихся тварей? И еще удивительнее, — зачем наделил он их этой страшной силой? Он так восхотел. Сотворим человека по нашему образу и подобию [66], — сказал он. Этот образ Божий, его подобие — это

наша свобода. Но сотворив нас столь удивительным образом, он к тому же одарил нас способностью знать, что мы противимся своему Создателю. Можно ли сомневаться, что, подарив нам эту удивительную силу, как будто идущую вразрез с мировым порядком, он не восхотел дать ей должное направление, не восхотел просветить нас, как мы должны ее использовать? Слову Всевышнего внимало сначала все человечество, олицетворенное в одном человеке, в котором заключались все грядущие поколения; впоследствии Он просветил отдельных избранников, дабы они хранили истину на земле, и наконец, признал достойным одного из нас быть облеченным божественным авторитетом, быть посвященным во все его сокровенности, так что он стал с ним одно, и возложил на него поручение сообщить нам все, что нам доступно из божественной тайны. Вот чему учит нас священная мудрость. Но наш собственный разум не говорит ли нам то же самое? Если бы не поучал нас Бог, разве мог бы существовать хотя бы мгновение мир, мы сами и что бы то ни было? Разве все не превратилось бы вновь в хаос? Это несомненно так, и наш собственный разум, как скоро он выходит из ослепления обманчивой самонадеянности, из полного погружения в свою гордыню, говорит то же, что и вера, а именно, что Бог необходимо должен был поучать и вести человека с первого же дня его создания и что он никогда не переставал и не перестанет поучать и вести его до скончания века. Сокольники, 30 июня

## **ПИСЬМО ПЯТОЕ[67]**

*"Much of the soul they talk, but all awry"*  
*<Они толкуют много о душе, но все превратно>*  
*Мильтон[68]*

Вы видите, все приводит нас снова к абсолютному положению: закон не может быть дан человеческим разумом самому себе точно так же, как разум этот не в силах предписать закон любой другой созданной вещи. Закон духовной природы нам раз навсегда предуказан, как и закон природы физической: если мы находим последний готовым, то нет ни малейшего основания полагать, будто дело обстоит иначе с первым. Однако свет нравственного закона сияет из отдаленной и неведомой области подобно сиянию тех солнц, которые движутся в иных небесах и лучи которых, правда, ослабленные, все же до нас доходят; наши очи должны быть открыты для восприятия этого света, как только он заблестит перед нами. Вы видели, мы пришли к этому заключению путем логических выводов, которые прояснили для нас некоторые элементы тождества между тем и другим порядком: материальным и духовным. Школьная психология, хотя и имеет почти ту же отправную точку, приводит к другим последствиям. Она заимствует у науки о природе один лишь прием наблюдения, т.е. именно то, что менее всего применимо к предмету ее изучения. И вот, вместо того, чтобы возвыситься до подлинного единства вещей, она только смешивает то, что должно оставаться навеки отдельным, вместо закона она и находит хаос. Да, сомнения нет, имеется абсолютное единство во всей совокупности существ: это именно и есть то, что мы по мере сил пытаемся доказать; скажу больше: в этом-то и заключается символ

веры (*credo*) всякой здоровой философии. Но это единство объективное, стоящее совершенно вне ощущаемой нами действительности; нет сомнения, это факт огромной важности, и он бросает неизреченный свет на великое ВСЕ: оно создает логику причин и следствий, но оно не имеет ничего общего с тем пантеизмом, который исповедует большинство современных философов[69], — пагубное учение, сообщающее ныне свою ложную окраску всем философским направлениям и ввергающее все до единой современные системы, как бы они ни расточали своих обетов в верности спиритуализму, в необходимость обращаться с фактами духовного порядка совершенно так, как будто они имеют дело с фактами порядка материального. Ум по природе своей стремится к единству, но к несчастью пока еще не поняли как следует, в чем заключается настоящее единство вещей. Чтобы в этом удостовериться достаточно взглянуть на то, как большинство мыслящих понимает бессмертие души[70]. Вечно живая душа и Бог, подобно ему вечно живая, одна абсолютная бесконечность и другая абсолютная бесконечность рядом с первой, — разве это возможно: Абсолютная бесконечность не есть ли абсолютное совершенство? Как же могут сосуществовать два вечных существа, два существа совершенных? А дело вот в чем. Так как нет никакого законного основания предполагать в существе, состоящем из сознания и материи, одновременное уничтожение обеих составных частей, то человеческому уму естественно было придти к мысли, что одна из этих частей может пережить другую. Но на этом и надо было остановиться. Пусть я проживу сто тысяч лет после того мгновения, которое я называю смертью и которое есть чисто физическое явление, с моим сознательным существом не имеющее ничего общего, отсюда еще далеко до бессмертия. Как все инстинктивные идеи человека, идея бессмертия души была сперва простой и разумной; но попав затем на слишком тучную почву Востока, она там разрослась сверх меры и вылилась, в конце концов, в нечестивый догмат, в котором творение смешивается с Творцом, так что черта, навеки их разделяющая, стирается, дух подавляется огромной тяжестью беспредельного будущего, все смешивается и запутывается. А затем — эта идея вторглась вместе со многими другими, унаследованными от язычников, в христианство, в этой новой силе она нашла себе надежную опору и смогла таким образом совершенно покорить себе сердце человека. Между тем, всякому известно, что христианская религия рассматривает вечную жизнь как награду за жизнь совершенно святую; итак, если вечную жизнь приходится еще заслужить, то заранее обладать ею, очевидно, нельзя; будучи воздаянием за совершенную жизнь, как может она быть исходом существования, протекшего в грехе? Удивительное дело: хотя дух человеческий осенен высочайшим из светочей, он все же не в силах овладеть полной истиной и постоянно мечется между истинным и ложным. Всякая философия, приходится сказать это, неизбежно заключена в некий роковой круг без исхода. В области нравственности она сначала предписывает сама себе закон, а затем начинает ему подчиняться, неизвестно, ни как, ни почему; в области метафизики она всегда предварительно устанавливает какое-то начало, из которого затем, по ее воле, вытекает целый мир вещей, ею же созданных. Это — вечное *petitio principii*[71] и при этом оно неизбежно: иначе все участие разума в этом деле свелось бы, очевидно, к нулю. Вот, например, как поступает самая положительная, самая строгая философия нашего времени[72]. Она начинает с установления факта, что орудием познания является наш разум, а поэтому необходимо прежде всего научиться его познать; без этого, утверждает она, мы не сможем использовать его должным образом. Далее философия эта и принимается изо всех сил рассекать и расчленять самый разум. Но при помощи чего производит она эту необходимую

предварительную работу, эту анатомию интеллекта? Не посредством ни этого самого разума? Итак, вынужденная в этой своей наипервейшей и главной операции взяться за орудие, которым она по собственному признанию не умеет еще пользоваться, как может она придти к искомому познанию? Этого понять нельзя. Но и это еще не все. Более уверенная в себе, чем все прежние философские системы, она утверждает, что разум надо трактовать точь в точь как внешние предметы. Тем же оком, которое вы направляете на внешний мир, вы можете рассмотреть и свое собственное существо: точно так, как вы ставите перед собой мир, можете вы перед собой поставить и самого себя, и как вы над миром размышляете и производите над ним опыты, так размышляйте и производите опыты над самим собой. Закон тождества, будучи общим для природы и для разума, позволяет вам одинаково обращаться и с нею и с ним. На основании ряда тождественных явлений материального порядка вы выводите заключение об общем явлении; что же мешает вам из ряда одинаковых фактов заключать к всеобщему факту и в порядке умственном? Как вы в состоянии заранее предвидеть факт физический, с одинаковой уверенностью вы можете предвидеть и факт духовный; смело можно в психологии поступать так, как в физике. Такова эмпирическая философия. По счастью, философия эта стала в настоящее время уделом лишь нескольких ленивых умов, которые упорно топчутся на старых путях. Но вот новый свет уже пробивается сквозь обступающую нас тьму[73], и все движение философии, вплоть до Эклектизма, который так благодушен и льстив, что, кажется только и помышляет о самоупраждении, наперебой стремится вернуть нас на более надежные пути. Среди умственных течений современности есть, в частности, одно, которое нужно особенно выделить. Это род тонкого Платонизма, новое порождение глубокой и мечтательной Германии; это преисполненный возвышенной умозрительной поэзии трансцендент<аль>ный [74] Идеализм, который уже потряс ветхое здание философских предрассудков в самой их основе. Но он пребывает пока на таких эфирных высотах, на которых трудно дышать. Он как бы витает в прозрачном воздухе, порою теряясь в неясных или мрачных сумерках, так что можно принять его за одно из фантастических видений, которые подчас появляются на южном небе, а через мгновение исчезают, не оставляя следа ни в воздухе, ни в памяти. Будем надеяться, что прекрасная и величественная мысль эта вскоре спустится в обитаемые пространства: мы будем ее приветствовать с живейшим сочувствием. А пока предоставим ей шествовать по ее извилистому пути, а сами пойдем намеченной себе дорогой, более надежной. Так вот, если, как мы убедились[75], движение в мире нравственном, как и движение в мире физическом, последствие изначального толчка, то не следует ли из этого, что то и другое движение в своей непрерывности подчинены одним и тем же законам, а следовательно, все явления жизни духа могут быть выведены по аналогии? Значит, подобно тому, как столкновение тел в природе служит продолжением этого первого толчка, сообщенного материи, столкновение сознаний также продолжает движение духа; подобно тому, как в природе всякая вещь связана со всем, что ей предшествует и что за ней следует, так и всякий отдельный человек и всякая мысль людей связаны со всеми людьми и со всеми человеческими мыслями, предшествующими и последующими: и как едина природа, так, по образному выражению Паскаля, и вся последовательная смена людей есть один человек, пребывающий вечно[76], и каждый из нас — участник работы сознания, которая совершается на протяжении веков. Наконец, подобно тому, как некая строящая и непрерывная работа элементов материальных или атомов, т.е. воспроизведение физических существ, составляет материальную природу, подобная же работа

элементов духовных или идей, т.е. воспроизведение умов, составляет природу духовную; и если я постигаю всю осязаемую материю как одно целое, то я должен одинаково воспринимать и всю совокупность сознаний как единое и единственное сознание. Главным средством формирования душ без сомнения является слово: без него нельзя себе представить ни происхождения сознания в отдельной личности, ни его развития в человеческом роде[77]. Но одного только слова недостаточно для того, чтобы вызвать великое явление всемирного сознания, слово далеко не единственное средство общения между людьми, оно, следовательно, совсем не обнимает собой всю духовную работу, совершающуюся в мире. Тысячи скрытых нитей связывают мысли одного разумного существа с мыслями другого; наши самые сокровенные мысли находят всевозможные средства вылиться наружу; распространяясь, перекрещиваясь между собой, они сливаются воедино, сочетаются, переходят из одного сознания в другое, дают ростки, приносят плоды — и, в конце концов, порождают общий разум. Иногда случается, что проявленная мысль как будто не производит никакого действия на окружающее; а между тем — движение передалось, толчок произошел; в свое время мысль найдет другую, родственную, которую она потрясет, прикоснувшись к ней, и тогда вы увидите ее возрождение и поразительное действие в мире духовном. Вы знаете такой физический опыт: подвешивают несколько шариков в ряд; отстраняют первый шарик, и последний шарик отскакивает, а промежуточные остаются неподвижными. Вот так и передается и мысль, проносясь сквозь мозг людей[10]. Сколько великих и прекрасных мыслей, откуда-то явившихся, охватили бесчисленные массы и поколения! Сколько возвышенных истин живет и действует, властвуя или светясь среди нас, и никто не знает, ни откуда явились эти грозные силы или блестящие светочи, ни как они пронеслись через времена и пространства! Цицерон где-то сказал: "Природа так устроила человеческий облик, что он выявляет чувства, скрытые в сердце: что бы мы ни чувствовали, глаза наши всегда это отражают"[78]. Это совершенно верно: в разумном существе все выдает его затаенную мысль; весь человек целиком общается ближнему, и так происходит зарождение сознаний. Ибо интеллект возникает ничуть не более чудесными путями, чем все остальное. Здесь такое же зарождение, как и всякое другое. Один и тот же закон имеет силу при любом воспроизведении, какова бы ни была его природа: все возникает через соприкосновение или слияние существ: никакая сила, никакая власть не действуют обособленно. Необходимо только принять во внимание, что самый факт зарождения происходит где-то вне нашего непосредственного наблюдения. Подобно тому, как в физическом мире вы наблюдаете действие различных природных сил — притяжения, ассимиляции, сродства и т.п., но в последнюю очередь подходите к факту неуловимому, к самому акту, сообщающему физическую жизнь, — и в мире духовном мы ясно различаем последствия, вызванные различными человеческими силами, но, в конце концов, мы подходим к чему-то, что ускользает от нашего непосредственного восприятия, — к самому акту передачи духовной жизни. А что такое то мировое сознание, которое соответствует мировой материи и на лоне которого протекают явления духовного порядка подобно тому, как явления порядка физического протекают на лоне материальности? Это не что иное, как совокупность всех идей, которые живут в памяти людей. Для того, чтобы стать достоянием человечества, идея должна пройти через известное число поколений; другими словами, идея становится достоянием всеобщего разума лишь в качестве традиции. Но речь идет здесь отнюдь не только о тех традициях, которые сообщаются человеческому уму историей и наукой: эти традиции составляют лишь часть мировой памяти. А много

есть и таких, которые никогда не оглашались перед народными собраниями, никогда не были воспеты рапсодами, никогда не были начертаны ни на колоннах, ни на пергаменте; самое время их возникновения никогда не было проверено исчислением и приурочено к течению светил небесных; критика никогда не взвешивала их на своих пристрастных весах; их влагает в глубину душ неведомая рука, их сообщают сердцу новорожденного первая улыбка матери, первая ласка отца. Таковы всеильные воспоминания, в которых сосредоточен опыт поколений: всякий индивидум их воспринимает с воздухом, которым дышит. И в этой-то среде совершаются все чудеса сознания. Правда, этот сокрытый опыт веков в целости не доходит до каждой частицы человечества; но он все же составляет духовную сущность вселенной, он течет в жилах человеческих рас, он воплощается в образовании их тел и, наконец, — служит продолжением других традиций, еще более таинственных, не имеющих корней на земле, но составляющих отправную точку всех обществ. Твердо установлено, что в каждом племени, как бы оно ни обособилось от основного мирового движения, всегда находятся некоторые представления, более или менее отчетливые, о Высшем Существо, о добре и зле, о том, что справедливо и что несправедливо: без этих представлений невозможно было бы существование племени совершенно так же, как и без грубых продуктов земли, которую племя топчет, и деревьев, которые дают ему приют. Откуда эти представления? Никто этого не знает; предания — вот и все; докопаться до их происхождения невозможно: дети восприняли их от отцов и матерей — вот и вся их родословная. А затем на эти первоначальные понятия нисходят века, на них скапливается опыт, на них создается наука, из этой невидимой основы вырастает человеческий дух. И вот как, путем наблюдений действительности, мы подошли к тому самому, к чему привело нас и рассуждение: к начальному толчку, без которого, как мы убедились, ничего бы не двинулось в природе и который необходим здесь точно так, как и там. И скажите на милость, можете ли вы допустить мыслящее существо без всякой мысли? Можете ли вы представить себе в человеке разум, ранее чем он пустил его в дело? Можете ли вы себе представить что-либо в голове ребенка до того, как ему было преподано нечто свидетелями появления его на свет? Находили детей среди лесных зверей, нравы которых эти дети себе усвоили; они затем восстанавливали свои умственные способности; но эти дети не могли быть покинуты с первых дней своего существования. Детеныш самого сильного животного неизбежно погибнет, оставленный самкой тотчас же после родов; а человек — слабейшее из животных, он требует материнского молока в течение шести или семи месяцев, даже череп его остается незакостеневшим несколько дней после рождения, — как бы он мог просуществовать первое время своей жизни, не попав в материнские руки? Значит, дети эти до разлуки с родителями восприняли зачатки умственности[79]. Я ручаюсь, что человек, очутившийся без родителей или иного человеческого существа, как только открылись на свет его глаза, если бы он ни разу не ощутил на себе взгляда одного из себе подобных, не услышал бы ни единого звука их голоса и в таком отчуждении вырос до сознательного возраста, ничем не отличался бы от других млекопитающих, которых натуралист причислит к тому же роду. Может ли быть что-либо бессмысленнее, чем предположение, будто каждая человеческая личность, как животное, является начинателем своей породы? А между тем, именно такова гипотеза, служащая основой всего идеологического построения. Предполагают, что это крохотное неоформившееся существо, еще связанное через пуповину с чревом матери, — является мыслящим существом. Но чем это подтверждается? Неужели по гальваническому содроганию, которое в нем заметно, определите вы небесный дар, ему уделенный? Или в

бессмысленном его взгляде, в его слезах, в пронзительном крике распознали вы существо, созданное по образу Божьему? Есть в нем, спрашиваю я, какая-нибудь мысль, которая бы не вытекала из небольшого круга понятий, вложенных в его голову матерью, кормилицей или другим человеческим существом в первые дни его бытия? Первый человек не был крикливым ребенком, он был человеком сложившимся, поэтому он вполне мог быть подобен Богу и действительно был Ему подобен: но, конечно, уж вовсе не подобен образу божьему зародыш человека. Истинную природу человека составляет то, что из всех существ он один способен просвещаться беспредельно: в этом и состоит его превосходство над всеми созданиями. Но для того, чтобы он мог возвыситься до свойств мыслящего существа, необходимо, чтобы чело его озарилось лучом высшего разума. В день создания человека Бог с ним беседовал и человек слушал и внимал ему: таково истинное происхождение человеческого разума; психология никогда не отыщет объяснения более глубокого. В дальнейшем он частично утратил способность воспринимать голос Бога, это было естественным следствием дара полученной им неограниченной свободы. Но он не потерял воспоминания о первых божественных словах, которые воспринял его слух. Вот этот-то Божественный глагол к первому человеку, передаваемый от поколения к поколению, поражает человека в колыбели, он-то и вводит человека в мир сознаний и превращает его в мыслящее существо. Тем же действием, которое Бог совершал, чтобы извлечь человека из небытия, он пользуется и сейчас для создания всякого нового мыслящего существа. Это именно Бог постоянно обращается к человеку через посредство ему подобных. Таким образом, представление о том, будто человеческое существо является в мир с готовым разумом, не имеет, как вы видите, никакого основания ни в опытных данных, ни в отвлеченных доводах. Великий закон постоянного и прямого воздействия высшего начала повторяется в общей жизни человека, как он осуществляется во всем творении. Там — это сила, заключающаяся в количестве, здесь — это принцип, заключающийся в традиции; но в обоих случаях повторяется одно и то же: внешнее воздействие на существо, каково бы оно ни было, воздействие, сначала мгновенное, а затем длительное и непрерывное. Как бы ни замыкаться в себе, как бы ни копаться в сокровенных глубинах своего сердца, мы никогда там ничего не найдем, кроме мысли унаследованной от наших предшественников на земле. Это разумение, как его ни разлагать, как его ни расчленять на части, всегда останется разумением всех поколений, сменившихся со времен первого человека и до нас; и когда мы размышляем о способностях нашего ума, мы пользуемся лишь более или менее удачно этим самым мировым разумом, с тем, чтобы наблюдать ту его долю, которую мы из него восприняли в продолжение нашего личного существования. Что означает то или иное свойство души? Это идея, — идея, которую мы находим в своем уме вполне готовой, не зная, как она в нем появилась, а эта идея в свою очередь вызывает другую. Но первая-то идея, откуда, по вашему, может она в нас возникнуть, если не из того океана идей, в который мы погружены? Лишенные общения с другими сознаниями, мы щипали бы траву, а не размышляли бы о своей природе. Если не согласиться с тем, что мысль человека есть мысль рода человеческого, то нет возможности понять, что она такое. Подобно всей остальной части в созданной вселенной, ничто в мире сознаний не может быть постигнуто как совершенно обособленное, существующее само собой. И, наконец, если справедливо, что в верховной или объективной действительности разум человеческий, на самом деле есть лишь постоянное воспроизведение мысли Бога, то его разум во времени, или разум субъективный, очевидно, тот, который он, благодаря свободной воле, сам себе создал. Правда, школьная мудрость[80] не

считается со всем этим; для нее существует только один и единственный разум, для нее данный человек и есть тот, каким он вышел из рук Создателя; хотя и созданный свободным, он не употребил во зло своей свободы; при всем своем своеволии, он, подобно неодушевленным предметам, пребыл неизменным, повинувшись непреклонной силе; бессчетные заблуждения, грубейшие предрассудки, им порожденные, преступления, которыми он запятнал себя, — ничто из всего этого не оставило следа в его душе. Вот он — тот самый, каким он был в тот день, когда божественное дыхание оживило его земное существо, он столь же чист, столь же непорочен, как тогда, когда еще ничто не осквернило его юной природы; для этой школьной мудрости человек постоянно один и тот же; всегда и всюду; мы именно таковы, какими должны были быть; и вот — это скопище мыслей, неполных, фантастических, несогласованных, которое мы именуем человеческим умом, по ее мнению оно именно и есть чистый разум, небесная эманация, истекшая из самого Бога; ничто его не изменило, ничто его не коснулось. Так рассуждает человеческая мудрость. Тем не менее, ум человеческий всегда ощущал потребность сызнова себя перестроить по идеальному образцу. До появления христианства он только и делал, что работал над созданием этого образца, который постоянно ускользал от него и над которым он постоянно продолжал трудиться; это и составляло великую задачу древности. В то время человек поневоле был обречен на искание образца в самом себе. Но удивительно то, что и в наши дни, имея перед собой возвышенные наставления, преподанные христианством, философия все еще подчас упорно пребывает в том кругу, в котором был замкнут древний мир, а не помышляет о поисках образца совершенного разума вне человеческой природы, не думает, например, обратиться к возвышенному учению, предназначенному сохранить в среде людей древнейшие традиции мира, к той удивительной книге, которая столь явственно носит на себе печать абсолютного разума, т.е. именно того разума, который он ищет и не может найти. Стоит только несколько вдуматься с искренней верой в учение, раскрытое откровением, — и вас поразит то величавое выражение духовного совершенства, которое в этом учении царит нераздельно, вам откроется, что все выдающиеся умы, вами там встреченные, составляют лишь части единого обширного разума, который заполняет и пронизывает тот мир, в котором прошедшее, настоящее и будущее составляют одно неразделимое целое; вы почувствуете, что все там ведет к постижению природы такого разума, который не подчинен условиям времени и пространства, которым человек некогда обладал, который он утратил, который он некогда вновь обретет, который был нам явлен в лице Христа. Заметьте, что по этому вопросу философский спиритуализм ничем не разнится от противоположной системы, ибо, все равно, признаем ли мы человеческое разумение за пустое место, согласившись со старой формулой сенсуалистов — нет ничего в разуме, чего бы не было сперва в ощущении, или же предположим, что разум действует по присущей ему собственной силе, и повторим за Декартом: я замыкаю все свои ощущения и я живу, — и в том и в другом случае мы все же будем иметь дело с тем разумом, который мы сейчас в себе находим, а не с тем, который был нам дарован изначально; поэтому мы будем исследовать вовсе не подлинное духовное начало, но начало искаженное, искалеченное, извращенное произволом человека. Впрочем, из всех известных систем, несомненно, самая глубокая и плодотворная по своим последствиям есть та, которая стремится, для того чтобы отчетливо понять явление разумности, добросовестно построить совершенно отвлеченный разум, существо исключительно мыслящее, не восходя при этом к источнику духовного начала[81]. Но так как материалом, из которого эта система строит свой образец, служит ей человек в теперешнем его состоянии,



то она-то все-таки вскрывает перед нами разум искусственный, а не разум первоначальный. Глубокий мыслитель, творец этой философии, не усмотрел, что все дело [заключалось][82] только в том, чтобы представить себе разум, который бы имел одно волевое устремление: обрести и вызвать к действию разум высший, но такой разум, способ движения (*mode de mouvement*) которого заключался бы в совершенном подчинении закону, подобно всему существующему, а вся его сила сводилась бы к безграничному стремлению слиться с тем другим разумом. Если бы он избрал это своей исходной точкой, он бы, конечно, пришел к идее разума воистину чистого, потому что разум этот был бы простым отражением абсолютного разума и анализ этого разума привел бы его без сомнения к последствиям огромной важности, а сверх того он не впал бы в ложное учение об автономии человеческого разума, о каком-то императивном законе, находящемся внутри самого нашего разума и дающем ему способность собственным порывом возвышаться до всей полноты доступного ему совершенства; наконец, другая, еще более самонадеянная философия, философия всемогущества человеческого Я, не была бы ему обязана своим существованием[83]. Но все же надо воздать ему должное: его создание и в теперешнем своем виде заслуживает с нашей стороны всяческого уважения. Тому направлению, которое он придал философским знаниям, обязаны мы всеми здоровыми идеями современности, сколько их ни есть в мире; и мы сами — только логическое последствие его мысли. Он измерил уверенной рукой пределы человеческого разума; он выяснил, что разум этот принужден принять два самых глубоких своих убеждения, а именно: существование Бога и неограниченность своего бытия, не имея возможности их доказать; он научил нас тому, что существует верховная логика, которая не подходит под нашу мерку и которая вне зависимости от нашей воли над нами тяготеет, и что имеется мир, отличный от нашего, а вместе с тем существующий одновременно с тем, в котором мы мечемся, и мир этот наш разум вынужден признать из опасения в противном случае самому ввергнуться в небытие, и, наконец, что именно отсюда мы должны почерпнуть все наши познания, чтобы затем применить их к миру реальному. И все же в конце концов приходится признать и то, что ему было предназначено только проложить новый путь философии и что если он оказал великие услуги человеческому духу, то лишь в том смысле, что заставил его вернуться вспять. В итоге произведенного нами сейчас исследования получается следующее. Сколько ни есть на свете идей, все они последствия некоторого числа передаваемых традиционно понятий, которые так же мало составляют достояние отдельного разумного существа, как природные силы — принадлежность особи физической. Архетипы Платона, врожденные идеи Декарта, а *prîori* Канта, все эти различные элементы мысли, которые весьма глубокими мыслителями по необходимости признавались за предваряющие какие бы то ни было проявления души, за предшествующие всякому опытному знанию и всякому самостоятельному действию ума, все эти изначала существующие зародыши разума сводятся к идеям, которые переданы нам от сознаний, предваривших нас к жизни и предназначенных ввести нас в наше личное бытие. Без восприятия этих результатов человек был бы просто-напросто двуногим или двуруким млекопитающим, не более, не менее, и это несмотря на лицевой угол, близкий к прямому, несмотря на размер своей черепной коробки, несмотря на вертикальное положение своего тела и т.д. Вложенные чудесным образом в сознание первого человеческого существа в день его создания той же рукой, которая направила планету по эллиптической орбите, которая привела в движение мертвую материю, которая даровала жизнь органическому существу, — именно

эти-то идеи сообщили разуму свойственное ему движение и кинули человека в тот огромный круг, который ему предначертано пройти. Идеи эти, возникающие посредством взаимного соприкосновения душ и в силу таинственного начала, которое увековечивает в созданном сознании действие сознания верховного, поддерживают жизнь природы духовной таким же порядком, как сходное соприкосновение и аналогичное начало поддерживают жизнь природы материальной. Так продолжается во всем первичное воздействие; так оно выливается окончательно в некое провидение, постоянное и непосредственное, простирающее свое действие на всю совокупность существ. Раз это установлено, ясно, что нам еще должно исследовать: нам остается лишь проследить движение этих традиций в истории человеческого рода, чтобы выяснить, каким образом и где идея, первоначально вложенная в сердце человека, сохранилась в целостности и чистоте[84].

## **ПИСЬМО ШЕСТОЕ[85]**

Можете спросить, каким образом среди множества потрясений, междуусобий, заговоров, преступлений и безумств находилось столько людей, занимавшихся полезными и изящными искусствами в Италии и затем в других христианских государствах; под владычеством турок мы этого не наблюдаем. Вольтер. Опыт о нравах[86] Сударыня. В предыдущих письмах вы видели, как важно правильно понимать развитие мысли в смене поколений, но вы также должны были видеть в них и другое: раз проникшись этой основной идеей, что в человеческом духе нет истины помимо собственноручно вложенной в нее Богом, когда он извлек человека из небытия, — вам должно было стать ясным и то, что нельзя рассматривать движение веков так, как их рассматривает вульгарная история. Приходится тогда признать, что провидение, или совершенно мудрый разум, не только управляет ходом событий, но и непосредственно и постоянно воздействует на разум человеческий. Если только допустить, что для первоначального движения разума в существе созданном потребовалось побуждение, исходящее не из его собственной природы, что его первые идеи, первые познания только и могли быть чудесными внушениями верховного разума, сила, создавшая его таким образом, должна была и далее оказывать на него то же действие, как и при сообщении ему первого движения. Такое понимание жизни и прогресса мыслящего существа во времени и его развития должно стать для вас привычным, сударыня, если вы вполне восприняли то, до чего мы ранее договорились. Вы видели, что чисто метафизическое рассуждение вполне доказывает непрерывность внешнего воздействия на разум человека. Но нет надобности прибегать к метафизике, вывод последует и без нее: нельзя отвергнуть его, не отрицая посылок, из которых он вытекает. Если задуматься над самим способом этого постоянного воздействия божественного разума в духовном мире, то обнаруживаешь, что оно не только должно быть таким, как мы только что видели, соответствующим его первоначальному действию, но еще и то, что осуществляться оно должно таким образом, чтобы человеческий разум оставался совершенно свободным и мог развить всю свою деятельность. Поэтому нет ничего удивительного, что существовал народ, среди которого традиция первоначальных внушений Бога сохранилась в большей чистоте, с большей определенностью, чем среди других, и что время от времени появлялись люди, через которых как бы возобновлялось

первоначальное действие нравственного порядка. Если устранить этот народ, устранить этих избранных людей, то придется предположить, что у всех народов, во все эпохи всеобщей жизни человека, во всякой отдельной личности божественная мысль сохранялась одинаково полной, одинаково живой. Это означало бы уничтожение всякой личности и всякой свободы в мире: это было бы отрицанием данности. Ясно, что личность и свобода существуют лишь постольку, поскольку есть различия в умах, нравственных силах и познаниях. Наоборот, предполагая лишь у нескольких личностей у одного народа или в нескольких единичных умах, которым в особенности вверено сохранение этой сокровищницы, высшую степень подчинения первоначальным традициям или же особенный дар воспринимать истину, первоначально вложенную в человеческий разум, устанавливаешь только явление нравственное, совершенно схожее с постоянно происходящим на наших глазах, а именно, что некоторые народы и некоторые личности обладают такими знаниями, которых нет у других народов и у других личностей. В остальной части человеческого рода эти великие традиции также поддерживались в большей или меньшей чистоте в зависимости от различных условий этих народов; и человек шествовал по предписанному ему пути лишь при свете этих всемогущих истин, которые в его сознании породил отличный от него разум. Но имелось лишь одно средоточие света на земле. Этот светоч, правда, не блистал подобно человеческим познаниям: он не распространял обманчивого сияния вдаль; сосредоточенный в одном месте, одновременно светясь и скрываясь от глаз, как все великие тайны мира; пылающий, но скрытый, как пламя жизни, этот необъяснимый свет все освещал и все стремились в этому общему средоточию, хотя как будто и светилось самостоятельно и направлялось к самым противоположным целям[11]. Но когда наступил момент великой катастрофы духовного мира, все созданные человеком призрачные силы тотчас исчезли и среди общего пожара осталось несокрушенным одно только вместилище вечной истины. Вот как понимается религиозное единство истории и как эта концепция возвышается до настоящей философии времен, которая показывает нам, что разумное существо точно так же подчинено общему закону, как и остальные создания. Я очень желал бы, сударыня, чтобы вы могли усвоить себе этот отвлеченный и религиозный способ осознать историю: ничто так не расширяет нашей мысли и не очищает нашей души так, как эти неясные замыслы провидения, властвующего в веках и ведущего человеческий род к его конечному назначению. Но пока постараемся построить философию истории, которая бы осветила по крайней мере обширную область человеческих воспоминаний, с тем, чтобы он был для нас зарей живого дневного света. Мы извлечем из этого предварительного изучения истории тем большую пользу, что оно само по себе может составить полную систему, так что мы в крайнем случае могли бы ею довольствоваться, если бы случайно что-либо помешало дальнейшим нашим изысканиям. Впрочем, я вам напоминаю, сударыня, что я беседую с вами не с кафедры и что эти письма составляют лишь продолжение наших прерванных бесед, в которых я так много почерпнул отрадных минут и которые, — я с удовольствием это повторяю, — служили мне истинным утешением, когда я в нем особенно нуждался... Итак, не ожидайте от меня большей поучительности, чем обыкновенно, и приготовьтесь сами, как обычно, продолжить эти размышления. Вы уже наверное заметили, сударыня, что современное направление человеческого разума явно стремится облечь всякое знание в историческую форму. Размышляя о философских основах исторической мысли, нельзя не заметить, что она призвана подняться в наши дни на неизмеримо большую высоту, чем та, на которой она стояла до сих пор. В

настоящее время разум, можно сказать, только и находит удовлетворение в истории; он постоянно обращается к прошедшему времени и в поисках новых возможностей выводит их исключительно из воспоминаний, из обзора пройденного пути, из изучения тех сил, которые направили и определили его движение в продолжение веков. И разумеется, это направление современной науки чрезвычайно благотворно. Пора признать, что та сила, которую человеческий разум находит в узких пределах настоящего, не составляет всего его содержания, что в нем имеется еще другая сила, которая, объединяя в одной мысли и времена протекшие, и времена обетованные, выражает подлинное существо разума и ставит его в действительно принадлежащую ему сферу деятельности. Впрочем, неужели вы не находите, сударыня, что и вообще традиционная, или повествовательная история по необходимости неполна? Что она может заключать в себе лишь то, что сохраняется в памяти людей? А ведь сохраняется не все происходящее. Поэтому очевидно, что современная точка зрения истории не может удовлетворить разум. Несмотря на философский дух, которым ныне прониклась история, несмотря на ценные критические труды, несмотря на оказанное ей в последнее время содействие естественных наук, астрономии, геологии и даже физики, как видите, она не смогла еще прийти ни к единству, ни к той высшей нравственной оценке, которая вытекала бы из отчетливого понимания всеобщего закона, управляющего нравственным движением веков. Человеческий разум, рассматривая прошлое, постоянно стремился к этому великому результату; но поверхностное поучение, извлекаемое из истории столь разнообразными путями, эти уроки ходячей философии, эти примеры каких-то там добродетелей, — как будто добродетель выставляет себя напоказ на великой мировой сцене, а ей не было свойственно пребывать в тени, эта пустая психологическая мораль истории, которая не создала ни одного честного человека, но породила множество плутов и безумцев всякого рода, и которая только и служит к повторению жалкой мировой комедии, — все это отклонило разум от тех настоящих наставлений, которые должны дать ему традиции человечества. Пока в науке господствовал дух христианства, глубокая, хотя и неудачно выраженная мысль проливалась на исторические изыскания долю того священного вдохновения, от которого она сама происходит. Но в то время историческая критика была еще так неразвита, столько событий, особенно с первобытных времен, сохранились в памяти человеческого рода настолько извращенными, что весь свет религии не мог рассеять этого глубокого мрака; так что история, хотя и освещенная высшим светом, тем не менее не могла подняться на должную высоту. В наши дни рациональное воззрение на историю привело бы, без сомнения, к более положительным результатам. Разум века требует совсем новой философии истории, такой философии истории, которая так же мало напоминала бы старую, как современные астрономические учения мало схожи с рядами гномонических наблюдений Гиппарха и прочих астрономов древности. Надо только осознать, что никогда не будет достаточно фактов для того, чтобы все доказать, а для того, чтобы многое предчувствовать, их было достаточно со времен Моисея и Геродота. Самые факты, сколько бы их ни собирать, еще никогда не создадут достоверности, которую нам может дать лишь способ их понимания. Точно так же, как, например, опыт веков, раскрывший Кеплеру законы движения планет, был недостаточен для того, чтобы обнаружить для него общий закон природы; это открытие выпало на долю необычайного озарения особого рода, на долю благочестивого размышления. Именно так нам, сударыня, и следует пытаться понять историю. Прежде всего, что означают все эти сопоставления веков и народов, которые нагромождает пустая ученость друг на друга? Все эти

родословные языков, народов и идей? Слепая или упрямая философия всегда сумеет от всего этого отговориться старыми доводами об однородности природы всех людей? Все это удивительное сплетение времен она объясняет своей любимой теорией естественного развития человеческого духа, без всяких следов провидения, без влияния какой бы то ни было причины, кроме механической силы человеческой природы. С точки зрения этой теории, человеческий разум, как известно, не более, чем ком снега, растущий по мере того, как его катят. Впрочем, она или усматривает повсюду прогресс и естественное совершенствование, присущее, по ее мнению, человеческому существу, или же она находит какое-то бессмысленное и беспричинное движение. Смотри по духовной организации исследователя, то мрачной и безнадежной, а то, напротив, исполненной надежд и уверенности в воздаяние, эта философия заставляет человека или бессмысленно трепыхаться подобно мошкаре в солнечном луче, или все подниматься и подниматься силою своей возвышенной природы; но она всегда видит во всем этом человека и только человека. Она добровольно обрекает себя на невежество; даже мир физический, который она якобы постигла, научает ее только тому, что он открывает пустому любопытству ума и чувств; поток света, непрестанно излучающийся из этого мира, до нее не доходит; если же, наконец, она и решится в совокупности всего усмотреть план, замысел, разум, подчинить им человеческий интеллект и принять все вытекающие из этого последствия относительно всеобщего нравственного порядка, это оказывается для нее невозможным, поскольку она остается сама собой. Поэтому ни к чему не ведут ни попытки связать между собой времена, ни непрестанная работа над фактическим материалом; надо стараться дать глубокие характеристики великих исторических эпох и определить совершенно беспристрастно черты каждого века на основании законов практического разума. При этом, если внимательно всмотреться в дело, то окажется, что все сырье истории[87] уже исчерпано; что народы выявили все свои традиции; что если и предстоит еще дать лучшие объяснения прошедшим эпохам, то эта задача будет решена не той критикой, которая способна лишь копаться на свалке истории, а приемами чисто рациональными, то по отношению к фактам не предстоит никаких новых открытий. Итак, истории теперь осталось только одно, — осмысливать. А раз это будет понятно, то история, естественно, займет свое место в общей системе философии и составит существенную часть ее. Многие предметы, разумеется, от нее отпадут и станут достоянием романистов и поэтов. Но еще больше их выступит из скрывающего их доселе тумана и поместится на самых высоких вершинах новой системы. Предметы истории стали бы заимствовать признаки достоверности не от одной только хроники, но подобно тому, как аксиомы натурфилософии, хотя и открытые наблюдением и опытом, сводятся геометрическим разумом только к формулам, так достоверность истинам области истории придал бы разум нравственный. Такова, например, эпоха, на наш взгляд, столь мало еще понятая, и вовсе не за отсутствием данных и памятников, а лишь за отсутствием мысли, — эпоха, в которую упираются все времена, где все кончается и все начинается, о которой без преувеличения можно сказать, что в ней все прошлое человеческого рода соединяется со всем его будущим: я имею в виду первые века нашей эры. Настанет день, когда историческое мышление не сможет оторваться от величественного зрелища того, как все первоначальные людские величия обратились в прах и внезапно обнаружили все их будущие величия. Таков же и продолжительный период, который наступил вслед за этим обновлением человеческого существа и был его продолжением; который предрассудок и философский фанатизм обрисовали в столь ложных красках; в котором столь

живые источники света скрывались в глубине самого густого мрака, в котором столь необычайные нравственные силы сохранились и питались среди видимой неподвижности умов[88], и который начали постигать лишь с тех пор, как человеческий ум принял свое новое направление. Но затем исполинские фигуры, затерянные ныне в толпе исторических личностей, выйдут из окружающей их мглы, а слава многих, кому люди расточали столь долго преступное или бессмысленное поклонение, обратится навсегда в ничто. Таковы будут, между прочим, и новые судьбы некоторых библейских персонажей, которых человеческий разум оставлял в неведении или пренебрежении, и некоторых языческих мудрецов, которым он воздал славу не по заслугам. Например, Моисей и Сократ. Раз и навсегда узнают, что первый открыл людям истинного Бога, а последний завещал им малодушное и беспокойное сомнение. На примере Давида и Марка Аврелия станет очевидным то, что первый был совершенным образцом самого святого героизма, в то время как другой — только любопытным примером искусственного величия, пышной и хвастливой добродетели. Точно так же про Катона, в ярости растерзавшего свои внутренности, будут вспоминать лишь с тем, чтобы по истинному достоинству оценить философию, внушавшую столь неистовую добродетель, и жалкое величие, которое этот человек себе создал. Я думаю, что среди славных языческих имен Эпикур освобожден от порочащего его предвзятого мнения и что память о нем вызовет к себе новый интерес. Переоценке подвергнутся и другие знаменитости. Имя Стагирита[89], например, станут произносить с некоторым отвращением, имя Магомета — с глубоким уважением; на первого будут смотреть как на ангела тьмы, который сковывал на протяжении нескольких веков все силы добра среди людей; на второго — как на благодетельное существо, кто всего более способствовал осуществлению плана божественной мудрости для спасения рода человеческого. И, наконец, — сказать ли это? Своего рода бесчестие будет связано с великим именем Гомера. В суждении, которое религиозный инстинкт Платона побудил его произнести об этом развратителе людей, не будут видеть одну из его знаменитых утопических выходов, а одно из замечательных его предвосхищений мыслей будущего. Необходимо, чтобы однажды людей заставило покраснеть воспоминание об одном преступном оболъстителе, который ужасным образом способствовал унижению человеческой природы; необходимо, чтобы они принесли раскаяние за то, что расточали фимиам этому льстецу их страстей, который, чтобы угодить им, запятнал священную традицию истины и наполнил их сердца нечистью. Все эти идеи, которые до сих пор только слегка коснулись человеческой мысли или, в лучшем случае, покоятся без движения в немногих независимых умах, займут тогда безвозвратно свое место в нравственном чувстве человеческого рода и станут аксиомами здравого смысла. Но одним из важнейших указаний так понимаемой истории было бы закрепление в памяти человеческого ума относительных степеней народов, исчезнувших со сцены мира, и установление в сознании живых народов ощущения тех судеб, которые они призваны выполнять. Всякий народ, ясно воспринимая различные эпохи прошедшей жизни, видел бы в истинном свете и настоящее свое положение и умел бы предвидеть тот путь, который ему надлежит пройти в будущем. У всех народов образовалось бы истинное национальное сознание, состоящее из некоторого числа положительных идей, очевидных истин, выведенных на основе их воспоминаний, из твердых убеждений, которые господствовали бы в большей или меньшей мере над всеми умами и направляли бы их к одной и той же цели. И тогда национальности, которые до сих пор лишь разделяли людей, избавившись от ослепления и от страстного

преследования своих интересов, объединились бы для достижения согласованного и всеобщего результата; тогда все народы протянули бы, может быть, друг другу руки и вместе пошли бы к одной цели. Я знаю, наши мудрецы обещали, что это слияние умов произойдет благодаря философии и прогрессу знаний вообще, но если рассудить, что народы, хотя они и сложные существа, на самом деле существа нравственные, подобно личностям, а следовательно, что один и тот же закон властвует в духовной жизни тех и других, то, очевидно, деятельность великих семей человечества по необходимости зависит от личного чувства, вследствие которого они сознают себя как бы выделенными из остальной части человеческого рода, имеющими собственное свое существование и свой личный интерес. Это чувство является необходимой составной частью мирового сознания, оно составляет как бы Я собирательного человеческого существа. Следовательно, в наших чаяниях грядущего благоденствия и беспредельного совершенствования так же невозможно сразу устранить величайшие личности человечества, как и ничтожнейшие, из которых те состояются. Следовательно, их надо принять безусловно, как принципы и средства к более совершенному существованию. Поэтому космополитическое будущее, обещаемое философией, не более, чем химера. Сначала надо заняться выработкой домашней нравственности народов, отличной от их политической морали; им надо сначала научиться знать и оценивать самих себя, как и отдельным личностям; они должны знать свои пороки и свои добродетели; они должны научиться раскаиваться в ошибках и преступлениях, ими совершенных, исправлять совершенное ими зло, упорствовать в добре, по пути которого они идут. В этом заключается, по нашему мнению, первое условие настоящей способности совершенствования для народов, как и для отдельных личностей; как те, так и другие для выполнения своего назначения в мире должны опереться на пройденную часть своей жизни и найти свое будущее в своем прошлом. Вы видите, при таком отношении к делу историческая критика из предмета пустого любопытства стала бы высочайшим из судилищ. Она произносила бы неумолимый суд над гордостью и величием всех веков; она тщательно проверила бы всякую репутацию, всякую славу; она расправилась бы со всеми призраками и всеми историческими увлечениями; она занялась бы усиленно уничтожением лживых образов, которые загромаждают память людей, с тем, чтобы прошлое, представ перед разумом в истинном свете, дало ему возможность вывести определенные следствия по отношению к настоящему и направить с некоторой уверенностью взоры в бесконечные дали будущего. Я думаю, что одна величайшая слава, слава Греции, при этом исчезла бы почти целиком; я думаю, придет день, когда нравственная мысль будет останавливаться лишь проникнувшись священной грустью в этой стране обманчивых надежд и иллюзий, из которых гений обмана так долго изливал на остальную часть земного шара соблазн и ложь. И тогда мы бы не видели чистые души людей, подобных Фенелону, беспечно упивающимися сладострастными вымыслами, порожденными самым ужасным извращением, до которого опустился человеческий дух, или же того, что мощные умы поддаются увлечению чувственными вдохновениями Платона [12]; и, наоборот, нашли бы, конечно, себе применение удивительное и неожиданное, — старые полузабытые идеи умов религиозных, а именно некоторых из тех выдающихся мыслителей, настоящих героев мысли, которые на заре нового общества одной рукой намечали предстоящий ему путь, а другой отбивались от издыхающего чудовища многобожия, замечательные построения других мудрецов — тех, кому Бог вверил сохранение первых слов, обращенных им к его созданиям, без сомнения найдут столь же убедительное, сколь и неожиданное применение. В

удивительных видениях будущего, когда-то дарованных избранным людям, вероятно усмотрят прежде всего выражение глубинного понимания абсолютной связи эпох и поэтому найдут, что на деле эти предсказания не относятся к тому или другому определенному времени, а служат наставлениями, одинаково применимыми ко всем временам, и даже, более того, поймут, что достаточно оглядеться кругом, чтобы заметить их постоянное совершение в последовательных изменениях общества как повседневное и ослепительное проявление вечного закона нравственного мира, так что пророчество ощущалось бы нами столь же живо, как и самые факты увлекающих нас событий[13]. Наконец, вот самый важный урок, который преподала бы нам история, таким образом понятая: урок этот в нашей системе сводит воедино всю философию истории, так как он дает нам понять всемирную жизнь сознательного существа, а она одна раскрывает загадку человечества: вместо того, чтобы удовлетвориться бессмысленной системой механического совершенствования нашей природы, теорией, столь явно опровергнутой опытом всех веков, надо понять, что человек, предоставленный самому себе, напротив, шел всегда ко все большему и большему падению; если и были периоды прогресса у всех народов и моменты высокого просветления во всемирной жизни человечества, возвышенные порывы его разума, замечательные подвиги его природы — чего нельзя отрицать, то, с другой стороны, ничто не свидетельствует о постоянном и последовательном движении вперед общества в целом; на самом деле только в том обществе, которого мы члены, в обществе, не созданном руками человеческими, можно заметить настоящее восходящее движение, принцип реального и бесконечного прогресса. Мы, бесспорно, восприняли то, что изобрел или открыл разум древних раньше нас; мы этим и воспользовались и закрепили разбитое звено великой цепи времен, порванное варварством; но из этого никак не следует, что народы могли бы дойти до современного своего состояния без исторического события, совершенно самостоятельного, совершенно оторванного от всего предшествующего, стоящего совсем вне обычного зарождения человеческих идей и всякого естественного сцепления явлений, события, которое отделяет древний мир от нового. И тогда, сударыня, взору мудреца, оглянувшегося на прошлое, мир, каким он был в момент, когда сверхъестественная сила заставила ум человеческий принять новое направление, предстанет его воображению в его настоящем свете, развращенным, окровавленным, изолгавшимся. Он бы понял, что тот прогресс народов и поколений, которым он так восхищался, привел их на самом деле лишь к одичанию, неизмеримо более жалкому, нежели в тех народах, которые мы называем дикими; и как доказательство того, насколько несовершенны были цивилизации древнего мира, он, без сомнения, убедился бы, что в них не было никакого принципа длительности и непрерывности. Глубокая мудрость Египта, пленительные красоты Ионии, доблести Рима, блеск Александрии, что с вами случилось? — спросил бы он себя. Блестящие цивилизации, древние как мир, вскормленные всеми силами земли, связанные со всеми славами, со всеми величиями, со всеми господствами и, наконец, с самой мощной властью, когда-либо попиравшей землю, как могли вы исчезнуть с лица земли[14]? К чему же вела вся эта работа веков, все эти гордые усилия духовной природы, если новые народы, не принимавшие в этом участия, должны были однажды все это разрушить, ниспровергнуть это великолепное здание и запахать его развалины? Для того ли человек возводил здание, чтобы увидеть когда-нибудь все произведения своих рук обращенными в прах? Для того ли он так много скопил, чтобы все это однажды потерять? Для того ли он так высоко поднялся, чтобы затем тем ниже пасть? Но не ошибитесь, сударыня. Вовсе



не варвары разрушили старый мир; он уже был истлевшим трупом; они лишь развеяли прах его по ветру. Эти же самые варвары нападали ранее на древние общества и не могли их даже поколебать; история едва помнит их давние нашествия. Дело в том, что принцип жизни, который делал возможным существование общества, был исчерпан; что материальный интерес, или, если хотите, интерес реальный, который один только определял ранее общественное движение, как бы выполнил до конца свою задачу и совершил предварительное воспитание человеческого рода; что дух человека, при всем его полном стремлении выйти за пределы земной сферы, лишь время от времени может возвыситься в области, где находится настоящая основа всех вещей; следовательно, он не в силах придать обществу устойчивость. В этой истине заключена вся та история, о которой я беседую с вами. К несчастью, слишком долго держалась привычка видеть в Европе только отдельные государства. Устойчивость нового мира и его огромное превосходство над древним еще не оценены. Не обращали внимания на то, что в продолжение ряда веков Европа составляла настоящую федеральную систему или скорее как бы один народ, и что эта система была разорвана лишь реформацией[90]. Но когда реформация произошла, общество уже было воздвигнуто навеки. До этого рокового события народы Европы смотрели на себя как на одно социальное тело, хотя и разделенное территориально на различные государства, но в нравственном отношении принадлежащее к одному целому. Долгое время у них не было другого публичного права помимо церковного; тогдашние войны рассматривались как междоусобные; один-единственный интерес одушевлял весь этот мир; одна мысль его вдохновляла. Вот что придает истории средних веков глубоко философское значение; это в буквальном смысле слова истории человеческого духа; движение нравственное, движение мысли составляли главное ее содержание; события чисто политические находятся там всегда на втором плане и лучше всего это доказывают те самые войны из-за убеждений, которые были для философии прошлого века предметом такого ужаса. Вольтер совершенно правильно отмечает, что убеждения вызывали войны лишь у христиан, но затем он принимается посвоему толковать об этом[91]. Но когда находишь в истории не повторяющийся нигде более факт, он заслуживает, на мой взгляд, того, чтобы постараться прежде всего хорошенько понять, что его вызвало и что из него получилось. И я спрашиваю вас, могло ли установиться в мире царство мысли иначе, как предоставлением принципу мысли всей его действительности, всей его напряженности? Видимость вещей, если вам так угодно, изменилась, и это последствие раскола; раздробив единство идеи, он раздробил также и единство общества. Но основа вещей осталась, конечно, прежней: Европа и сейчас еще является христианским миром, что бы она ни делала. Без сомнения, она не вернется более к тому состоянию, в каком она была в пору своей юности и роста; но нельзя сомневаться и в том, что некогда черты, разделяющие христианские народы, снова сотрутся, и первоначальный принцип нового общества, хотя и в новой форме, обнаружится с большей силой, нежели когда-либо прежде. Для христианина это предмет веры; ему не позволительно сомневаться в этом будущем так, как в прошлом, на котором основаны все его верования, но и для всякого сколько-нибудь глубокого ума, это, на мой взгляд, нечто доказанное. Кто знает, может быть день этот даже не так далек от нас, как это предполагают? Несомненно, в наши дни происходит в глубине сознания огромная религиозная работа, в ходе науки, этой верховной силы века, заметно какое-то поворотное движение, время от времени что-то торжественное и сосредоточенное чувствуется в душах; кто знает, не предвестники ли это каких-то

великих нравственных и социальных явлений, которые вызовут общий переворот во всей разумной природе, вследствие чего обетованные человеку судьбы из предметов веры, каковы они теперь, станут для всеобщего разума вероятными или даже несомненными? Сударыня, отличительные черты нового общества следует искать в большой семье христианских народов; именно здесь находится элемент устойчивости и истинного прогресса, отличающий его от всякой другой социальной системы мира; в этом сокрыты все великие поучения истории. Итак, мы видим, что при всех переворотах, испытанных новым обществом, оно не только не утратило ничего в своей жизненности, но с каждым днем еще растет в силе, и с каждым днем в нем обнаруживаются новые возможности в дополнение к разившимся ранее. И ни арабы, ни татары, — ни турки не только не могли это общество уничтожить, но даже, наоборот, только способствовали его утверждению. Как вы знаете, два первые эти народа напали на него ранее изобретения пороха, а это доказывает, что его спасло от разрушения не огнестрельное оружие; один из этих народов в то же время напал на два общества, сохранившиеся от древнего мира, на Индию и Китай. Оба эти общества, правда, также не погибли, благодаря огромности населения, составляющего хотя и косные, но все же способные к сопротивлению массы; но самобытность их утратилась, прежний жизненный принцип был отброшен к конечностям социального тела; таким образом смертный приговор был все же произнесен над ними. Эти страны потом были предназначены для великого поучения, которым мы должны воспользоваться. Присматриваясь к ним теперь, мы до некоторой степени становимся современниками того мира, от которого кругом нас сохранился один лишь прах; таким образом, мы можем там наблюдать, во что бы обратился род людской без нового импульса, данного ему всемогущей рукой. И заметьте, что Китай, по-видимому, с незапамятных времен обладал тремя великими орудиями, которые, как говорят, наиболее ускорили среди нас движение вперед человеческого ума: компасом, печатным станком и порохом. И что же? На что они ему послужили? Объехали ли китайцы кругом земного шара? Открыли ли они новое полушарие? Есть ли у них литература, более обширная, чем та, которой мы обладали ранее изобретения книгопечатания? В злосчастном искусстве войны были ли у них Фридрихи и Бонапарты, как у нас? Относительно Индостана — есть ли на свете что-либо более убедительное, свидетельствующее о бессилии и печальном состоянии всякого общества, не опирающегося на истину, исшедшую непосредственно от высшего разума, чем то унижительное состояние, в которое его привело завоевание татар и англичан? Я не могу сомневаться в том, что эта тупая неподвижность Китая и необычайное принижение индусского народа, хранителя древнейших природных достижений и зародышей всех человеческих познаний, заключают в себе важнейший урок и что именно поэтому Бог сохранил их на земле[15]. Вам часто приходилось слышать мнение, будто падение Римской империи произошло ввиду развращения нравов и деспотизма, который за ним последовал. Но в этой всемирной революции дело касается не одного Рима, погиб не Рим, а целиком вся древняя цивилизация. Египет фараонов, Греция Перикла, второй Египет Лагидов и вся Греция Александра, которая простиралась за Инд, наконец, даже и иудаизм[92], с тех пор, как он эллинизировался, все это растворилось в римской массе и составляло одно целое, одно общество, которое совместило в себе все предшествующие поколения с самого начала, заключало в себе все нравственные и умственные силы, разившиеся до этого в человеческой природе. Значит, не империя погибла, погибло и вновь восстало человеческое общество. С тех пор, как земной шар был как бы охвачен Европой и новый мир, всплывший из океана, был ею заново пересоздан, а остальные человеческие

племена настолько ей подчинились, что можно считать их как бы существующими только в меру их произволения, легко себе представить происходившее на земле тогда, когда сокрушалось старое здание, а новое чудесным образом возникало взамен его: нравственное начало вселенной получало новый закон, новое устройство. Разумеется, материал старого мира был использован при построении нового; материальная основа нравственного порядка по необходимости осталась прежняя, и к тому же еще совсем новый материал, почерпнутый из пластов, не тронутых старой цивилизацией, был доставлен провидением; деятельные и сосредоточенные способности с Севера сочетались с пылкими силами Юга и Востока; холодная и строгая мысль северного климата слилась с горячей и радостной мыслью умеренного; можно сказать, сколько ни было духовных сил, рассеянных по земле, все они соединились в этот день, чтобы зародились поколения идей, элементы которых были до тех пор погребены в самых таинственных глубинах человеческого сердца. Но ни план здания, ни цемент, связавший воедино эти разнообразные материалы, не были делом рук человеческих: все совершила пришедшая с неба мысль. Это нам и важно понять, в этом заключается огромный факт, которого чисто историческое рассуждение, привлекая все человеческие средства, находимые им в этой эпохе, не смогло бы объяснить, — вот ось, вокруг которой вертится вся сфера истории, вот что объясняет и доказывает явление воспитания человеческого рода. Одно уж величие этого события, его внутренняя, его необходимая, его насквозь проникнутая провидением связь с предшествующим и последующим достаточны, по моему мнению, чтобы поставить его вне обычного течения человеческих действий; но его определяющее влияние на разум, совсем новые силы, которыми оно его обогатило, впервые порожденные в нем потребности, а главное, произведенное этим событием уравнение умов сделало человека ищущим истину и способным познать ее во всяком положении, в любых условиях — вот что налагает на эту эпоху от начала до конца поразительную печать провидения и высшего разума. Вот почему разум человека, несмотря на свои частые обращения к предметам отжившим, к таким, которые не должны и, несмотря на все попытки разума, не могут более существовать, всегда упорно держался за этот момент. Разве та часть мирового разума, которая ныне господствует над всей остальной ее массой и влечет за собой ее, не ведет своего начала с первых дней нашей эры? Мировой разум не есть ли теперь разум христианский? Не знаю, может быть черта, отделяющая нас от древнего мира, заметна не для всякого глаза, но для меня к этому сводится вся моя философия, вся моя мораль, вся моя религия. И, я надеюсь, придет время, когда всякий возврат к язычеству, и особенно тот, который свершился в пятнадцатом веке, и носит, если не ошибаюсь, имя "возрождение искусств", со всеми своими продолжениями и последствиями будет оцениваться как преступное опьянение, самую память о котором надо стараться всеми силами стереть в мировом сознании. Надо заметить, что благодаря своего рода оптическому обману, древность представляют себе как нескончаемый ряд веков, а современный период наступившим чуть не со вчерашнего дня. Между тем, история древнего мира если начинать, например, с водворения в Греции Пелазгов[93], обнимает собою время лишь на сто лет превышающее длительность периода с первого дня нашей эры. Но подчиненное историческое время еще короче. И в течение этого времени столько обществ погибло в древнем мире. Между тем в истории современных народов мы наблюдаем лишь перемещение географических границ государств, общества и народы остаются неприкосновенными. Нет надобности говорить, что такие факты, как изгнание мавров из Испании, истребление американских племен, свержение

татарского владычества в России лишь подтверждают общее правило. Точно так же крушение турецкой империи, которое уже доносится до нашего слуха, снова представит нам пример еще одной из тех великих катастроф, которые не предстоит переживать христианским народам. Затем наступит черед других нехристианских народов, граничащих с более отдаленными окраинами нашей системы. Вот круг всемогущего действия священной истины порою откидывая народы, порою вбирая их в свой состав, он расширяется без перерыва и приближает нас к возвешенным временам, Так совершаются судьбы рода человеческого. Нельзя не поражаться тому равнодушию, с которым долго относились к новой цивилизации. Между тем, как вы видите, понять ее должным образом и до конца истолковать — значит, до некоторой степени разрешить социальную задачу. Именно поэтому волей-неволей приходится постоянно возвращаться к этой цивилизации при самых обширных и самых общих соображениях философии истории. В самом деле, разве она не заключает в себе работу всех протекших веков? А будущие века, разве они не будут простым следствием этой цивилизации? А нравственное существо, не что иное как существо, созданное временем, и время должно довершить его до конца. Вся совокупность идей, разлитых на духовной поверхности мира, никогда не была так рассредоточена, как в современном обществе. Во всю мировую жизнь человеческого существа никогда одна идея так не обнимала всей деятельности его природы, как в наши дни. Итак, мы положительно наследники всего, что было сказано или совершено людьми, и нет такой точки на всей земле, которая лежала бы вне воздействия наших идей: значит, во всем мире остается лишь одна духовная сила. Поэтому все основные вопросы философии истории по необходимости заключены в вопросе о европейской цивилизации. Но как только произнесли слова о присущем человечеству свойстве идти к совершенству, о прогрессе человеческого ума, думают, что этим все сказано, все объяснено. Можно подумать, будто бы человек во все времена только и делал, что шел вперед, никогда не отступая назад; что в движении разумной природы никогда не было столкновений, поворотов в обратную сторону, а только развитие и прогресс. Но как же народы, о которых я говорил выше, не трогаются с места с тех пор, как мы их знаем? Вам говорят, что народы Азии остановились в своем развитии. Но почему же они остановились? Чтобы дойти до состояния, в котором они сейчас находятся, они как будто должны были действовать, как и мы: добиваться, изобретать, делать открытия. Отчего же, дойдя до известной ступени, они сразу остановились и с тех пор не могли ничего выдумать, ничего создать[16]? Ответ прост: причина в том, что прогресс человеческой природы отнюдь не безграничен, как это воображают: есть предел, которого ему не удастся переступить, Поэтому-то общества древнего мира не всегда подвигались вперед; поэтому-то Египет не сошел с места со времени посещения его Геродотом вплоть до установления владычества греков: поэтому-то и римский мир, столь прекрасный, столь яркий, воспринявший в себя все просвещение стран от столбов Геркулеса[94] до Ганга, был вынужден постепенно уменьшаться и дошел к моменту озарения человеческого разума новым светом до того состояния неподвижности, которым по необходимости заканчивается всякий человеческий прогресс. Если только подумать об этом времени, столь богатом результатами, без школьных предрассудков, об этом историческом бедствии, легко убедиться, что сверх чрезвычайного развращения нравов, потери всякого чувства доблести, свободы, любви к родине, упадка во всех отраслях человеческих знаний, в то время еще наступил полный застой во всем, и умы вращались только в узком и ложном кругу, который они переступали лишь с тем, чтобы окунуться в бессмысленное беспутство. Как только удовлетворен интерес материальный,

человек не идет вперед, хорошо еще, если он не отступает. Таков факт. Не надо заблуждаться: в Греции как и в Индостане, в Риме, как и в Японии, в Мексике, как и в Китае, вся умственная работа, как бы она ни была замечательна — в прошлом и настоящем, всегда вела и всегда будет вести к одному и тому же: поэзия, философия, искусство, все это служило и служит одной лишь телесной природе человека. Все наиболее возвышенное и бьющее через край в учениях и привычках Востока не только не противоречит этому общему положению, а, напротив, еще более его подтверждает. Кто не видит, что вся эта распущенность мысли происходит только от заблуждений и самообольщения материального человека. Не надо только думать, что этот земной интерес, вечный возбудитель всякой человеческой деятельности, ограничивается одними только чувственными потребностями; он проявляется в различных формах, зависит от степени развития общества, от тех или других местных условий, но никогда, в конце концов, не поднимаясь до потребностей чисто нравственного существа. Одно только христианское общество действительно руководимо интересами мысли и души. В этом и состоит способность к усовершенствованию новых народов, в этом и заключается тайна их цивилизации. Здесь, в какой бы мере ни проявлялся другой интерес, всегда окажется, что он подчинен этой могучей силе, которая в христианском обществе овладевает всеми свойствами человека, подчиняет себе все способности его разума, не оставляет ничего в стороне, заставляет все служить осуществлению своего предназначения. И этот интерес никогда не может быть удовлетворен до конца; он беспределен; поэтому христианские народы должны постоянно идти вперед. И хотя та же цель, к которой они стремятся, не имеет ничего общего с другим благополучием единственным, какое могут ставить перед собой народы нехристианские, оно находится на пути христианских народов, которые употребляют его к своей выгоде; и жизненные блага, которых одних добиваются прочие народы, получают и христианами, но другим путем, по слову Спасителя: ищите же [прежде всего] царства небесного [и правды его] и все [остальное] приложится вам[95]. Так, огромное развитие всех духовных сил, возбужденных господствующим у них духом, доставляет им все блага. Но у нас, наверное, никогда не будет ни китайской неподвижности, ни греческой упадочности, а тем менее — полного крушения нашей цивилизации. Достаточно оглядеться кругом, чтобы в этом убедиться. Для такого крушения весь земной шар должен быть разрушен до основания, должен произойти второй переворот, подобный тому, который придал ему теперешнюю его форму. Если бы даже было целиком поглощено одно из двух полушарий, того, что сохранилось бы от наших дней во втором, хватило бы для восстановления человеческого разума. Никогда, нет, никогда не остановится и не погибнет мысль, которая должна подчинить себе мир: для этого ее должно было бы поразить свыше особое повеление того, кто вложил ее в душу человека. Во всяком случае я надеюсь, сударыня, что вы найдете этот философский вывод из размышлений об истории более положительным, более очевидным, а главное — более поучительным, чем те, которые на свой лад делает прежняя история из обзора веков, ссылаясь на почву, климат, расы людей и т.п., а также на прославленную способность людей к совершенствованию. А знаете ли вы, сударыня, на ком лежит вина за то, что влияние христианства на общество и на развитие человеческого разума все еще недостаточно понято и недостаточно оценено? На людях, которые раскололи нравственное единство; на тех людях, которые ведут летосчисление христианства лишь от собственного своего пришествия; на тех, которые называют себя реформаторами! Ясно, что они нимало не заинтересованы в исследовании пути христианства через средние века. Поэтому

весь этот огромный период для них пустое время. Как же они смогут понять воспитание современных народов? Поверьте, ничто так не послужило к искажению современной истории, как эта неправильная точка зрения протестантов. Отсюда идет столь сильно преувеличенная оценка Возрождения, которого, собственно говоря, никогда и не было, потому что науки никогда окончательно не замирали; отсюда идут выдумки о множестве различных причин прогресса, которые все имели лишь второстепенное значение или же вытекали из той единственной причины, которая все произвела; отсюда идут всяческие поиски причин успехов современных народов, поиски повсюду, за исключением того, в чем эти причины действительно заключаются, а вследствие этого стали отказываться от христианства. [Но с тех пор, как дух философии менее узкой, с более обширным кругозором вследствие желанного обращения к прошлому, пришел к изучению этого интересного периода, столько неведомых ранее предметов предстало мысли, что даже и наиболее упорное недоброжелательство не сможет впредь противиться этим новым знаниям[96]. Так что если только в замыслы провидения входит, чтобы люди этим путем просветились, то, наверное, не далек тот час, когда великое сияние озарит темноту, еще покрывающую историю современного общества, и эта новая философия истории, о которой я стараюсь дать вам понятие, не замедлит быть усвоенной людьми науки[17]][97]. Приходится признать это упорство протестантов до крайности странным. По их мнению, начиная со второго или третьего века, христианство сохранялось ровно настолько, насколько это было необходимо для его спасения от окончательного уничтожения. Суеверие или невежество этих одиннадцати или двенадцати веков представляются им такими, что они в них усматривают идолопоклонство, столь же печальное, как и у народовязычников; если им поверить, нить священного предания, не будь вальденцев, была бы окончательно оборвана, и, промедли Лютер своим приходом, религия Христа погибла бы. Каким образом, спрашиваю я вас, распознать божественную печать на этом учении без силы, без постоянства, без жизни каким они изображают христианство? Как усмотреть дело Бога в этой живой религии, которая вместо того, чтобы обновить человеческий род и наполнить его новой жизнью, как она это обещала, появилась на мгновение на земле и тотчас угасла, родилась только затем, чтобы немедленно умереть или же чтобы служить орудием человеческих страстей. Значит, судьба религии зависела от одного желания Льва X закончить собор св. Петра[98]? Если бы он не приказал продавать с этой целью индульгенции[99] Германии, в наши дни и следа бы не было от христианства. Не знаю, есть ли что-либо более явно обнаруживающее коренную ошибку реформации, чем этот узкий и мелочный взгляд на религию откровения. Разве это не означает признать лживыми все обещания Иисуса Христа, отвергнуть весь его замысел? Если правда, что слово его должно пережить небо и землю, что он сам постоянно пребывает среди нас, — как мог быть на краю крушения воздвигнутый его руками храм? Как мог этот храм оставаться покинутым, как дом, предназначенный на разрушение? Надо, впрочем, признать одно: реформаторы были последовательны. Если они сначала вызвали пожар во всей Европе, если затем они разорвали узы, объединявшие народы и соединившие их в одну семью, если они разлили столько крови и столько ужаса по земле, то ведь христианство было на краю гибели. Не следовало ли все принести в жертву для его спасения? И, напротив, ничто лучше не доказывает божественности нашей религии, чем ее постоянное и непрерывное воздействие на человеческий разум: воздействие, которое хотя и видоизменялось сообразно времени, хотя и приспособлялось к различным потребностям народов и веков, ни на мгновение не ослабевало, а тем

более не прекращалось. Вот это зрелище его верховного могущества, постоянно действующего среди бесчисленных препятствий вследствие порочности нашей природы и печального наследства язычества, лучше всего оправдывает его с точки зрения разума. Что означает утверждение, будто Церковь выродилась из первоначальной Церкви? Отцы церкви, начиная с третьего века, разве не жаловались на испорченность христианства? И постоянно, каждый век, на каждом Соборе, не повторялись ли все те же жалобы? Истинное благочестие разве не возвышало постоянно своего голоса против злоупотреблений и пороков духовенства, против злоупотреблений иерархической власти, когда они происходили? Нет ничего удивительнее тех блестящих откровений, которые время от времени устремлялись из недр темной ночи, покрывавшей мир: это были то примеры высших добродетелей, то чудесные действия веры на душу народов и отдельных лиц; церковь все это сохранила и строила из этого свою силу и свое богатство; таким образом создано вечное здание тем способом, который всего лучше мог сообщить Церкви необходимую ей форму. Первоначальная чистота христианства, разумеется, не могла всегда сохраняться; христианству пришлось пройти через всевозможные виды испорченности и понести на себе неизбежные отпечатки свободы человеческого разума. Притом же совершенство апостольской Церкви осуществлялось в немногочисленной общине, затерянной в огромной языческой среде; оно не могло быть таким же, как во всемирном обществе человеческого рода. Золотой век Церкви, как известно, совпал со временем ее величайших страданий, когда еще совершался подвиг мученичества, на котором строился новый порядок, когда струилась еще кровь Спасителя; нелепо мечтать о возврате такого порядка вещей, который вытекал только из великих бедствий, поражавших первых христиан. Спрашивается, что же совершила реформация, гордая тем, что она вновь обрела христианство? Вы видите, что это один из важнейших вопросов, какой может задать себе историческая наука: реформация вернула мир в разобщенность язычества, она восстановила основные индивидуальные черты национальностей, обособление душ и умов, она снова отбросила человека в одиночество его личности, она попыталась снова отнять у мира все симпатии, все созвучия, которые Спаситель принес миру. Если она ускорила развитие человеческого разума, то она в то же время изъяла из сознания разумного существа плодотворную, возвышенную идею всеобщности и единства, незаменимый источник истинного прогресса человечества, т.е. прогресса беспредельного. Сущностью всякого раскола в христианском мире является разрыв того таинственного единства, в котором заключается вся божественная мысль христианства и вся его сила. Вот почему древняя Церковь, в которой созрело христианство, никогда не будет договариваться с новыми исповеданиями. Горе ей и горе миру, если бы она когда-либо признала факт разделения. Все вскоре обратилось бы в хаос человеческих идей, в многообразие лжи, в развалины и прах. Одна лишь видимая, осязаемая, изваянная неизменность истины может сохранить царство духа на земле. Господство мысли обретает непрерывность и длительность, лишь осуществляясь в данных формах человеческой природы. И во что обратится таинство причащения, это чудесное изобретение христианского разума, которое как бы облакает души плотью для лучшего их соединения, если перестают требовать видимого единения, если довольствуются внутренним единством убеждений без внешнего воплощения! К чему объединяться со Спасителем, если разделяться между собой? Пусть жестокий Кальвин, убийца Сервета, пусть буйный Цвингли, пусть тиран Генрих VIII со своим лицемерным Кранмером не смогли понять силу любви и единения, которая содержится в великом таинстве [100], я

этому не удивляюсь; но я совершенно не понимаю, как могут так странно ошибаться по отношению к идее этого великого установления и предаваться жалкому учению кальвинизма те глубокие умы, искренне религиозные, каких много среди лютеран, у которых притом эта подмена евхаристии не составляет догмата и основатель учения которых с таким жаром против этой подмены боролся? Надо согласиться, что во всех протестантских церквях есть какое-то странное пристрастие к разрушению. Они как будто только и мечтают о самоуничтожении; они как бы боятся быть слишком живыми; они не хотят всего того, что могло бы излишне продлить их существование. Неужели в этом заключается учение того, кто пришел принести жизнь на землю, кто победил смерть? Разве мы уже на небе, чтобы позволить себе безнаказанно откидывать условия земного распорядка? И распорядок этот, разве он не есть соединение чистых мыслей разумного существа с тем, что необходимо для его существования? А первейшая из этих потребностей — общество, соприкосновение умов, слияние мыслей и чувств. Лишь при осуществлении этого истина становится живой, из области рассуждений она спускается в область действительности, из мысли она становится действием; тогда она получает, наконец, свойство силы природы и ее действие столь же определено, как действие всякой другой природной силы. Но как же это все совершится в обществе идеальном, которое существует лишь в пожеланиях и в воображении людей? Такова невидимая церковь протестантов: она и действительно невидима, как небытие. День, когда соединятся все христианские вероисповедания, будет днем, когда все отколовшиеся церкви должны будут признать в покаянии и в унижении, и посыпав голову пеплом, что, отделившись от Церкви-матери, они далеко отбросили от себя возвышенную молитву Спасителя: "Отче святой, сохрани их во имя твое, тех, кого ты даровал мне, да будут они одно, как мы одно"[101]. А папство, — пусть оно и будет, как говорят, человеческим учреждением — как будто предметы такого порядка совершаются руками людей, — но разве в этом дело? Во всяком случае достоверно, что в свое время оно возникло по существу из истинного духа христианства, и сегодня оно, оставаясь постоянно видимым знаком единства, является еще и знаком воссоединения. Почему бы, руководствуясь этим, не признать за ним первенства над всеми христианскими обществами? Во всяком случае, кого не удивят его необычайные судьбы? Кого не поразит удивлением его вид, непоколебимый и более чем когда-либо крепкий, несмотря на все свои ошибки, все свои грехи, несмотря на все атаки и неслыханное торжество неверия. Лишившись своего человеческого блеска, оно от этого только усилилось; и безразличие, с которым к нему относятся, делает его положение еще более прочным и вернее обеспечивает его длительное существование. Когда-то его поддерживало преклонение мира христианского и внутреннее чувство народов, которое заставляло их видеть в нем основу их спасения, временного и вечного; теперь то же производит его униженное положение среди земных держав; но все же оно в совершенстве выполняет свое назначение; оно и в наши дни централизует христианские мысли; оно и в наши дни их сближает помимо их воли, оно напоминает людям, отрекшимся от единства, высший принцип их веры и, благодаря этой черте своего небесного призвания, которым оно все проникнуто, оно величественно витает над миром земных интересов. Как бы мало, на первый взгляд, им сейчас ни занимались, в случае если бы, предположив невозможное, папство исчезло с лица земли, то растерянность охватила бы все религиозные общины, когда этот живой исторический памятник великой общины перестал бы стоять перед ними. Всюду станут искать это видимое единство, которому теперь придается так мало значения; и нигде его не будут



находить, и нет ни малейшего сомнения, что драгоценное сознание своей будущности, каким ныне преисполнен христианский разум и которое дает ему высшую жизнь, чем он и отличается от разума обычного, неизбежно рассеется, как утрачиваются надежды, построенные на памяти о деятельном существовании, — утрачиваются, как только воображаемая деятельность оказывается безрезультатной и вследствие этого сама память о прошлом ускользает из души, как ненужная. [Прощайте, сударыня. Я обещаю вам, что на этот раз следующее письмо не заставит себя ждать][102].

## **ПИСЬМО СЕДЬМОЕ[103]**

Сударыня.

[Чем более Вы будете вдумываться в то, что я говорил Вам на днях, тем яснее Вам представится, что то же самое было уже много раз сказано людьми всех партий и всех убеждений и что я только придаю сказанному особое значение, которого ранее в нем не видели. А между тем, я уверен, что если эти письма какнибудь случайно увидят свет, в них непременно усмотрят парадоксы. Стоит поддерживать самые давние идеи с некоторой долей убеждения, чтобы их приняли за какие-то странные новости. А я полагаю, что пора парадоксов и систем без реальной основы миновала так бесповоротно, что только глупец может еще поддаваться этим старым заблуждениям человеческого ума. Если человеческий разум в наши дни не так широк, не так возвышен, не так плодотворен, как в великие века вдохновений и открытий, то он несравненно строже, трезвее, точнее, методичнее, наконец, справедливее, чем когда-либо ранее; и я прибавлю — с чувством настоящего счастья, — что он с некоторого времени кроме того стал более прежнего безличным, а это лучшее ружье против заносчивости отдельных мнений][104].

Если же при рассмотрении человеческих воспоминаний мы пришли к некоторым выводам, несовпадающим с господствующими, то это благодаря уверенности, что надо откровенно заявить свой взгляд на этот предмет, как это было сделано по отношению к естественным наукам в прошлом веке. Мы видели, что настало время познать историю во всей ее рациональной деятельности, как естественные науки были восприняты во всей их эмпирической реальности. Так как предмет истории и ее средства познания всегда одни и те же, то ясно, что круг исторического опыта должен когда-нибудь замкнуться. Приложения никогда не будут исчерпаны, но раз будет найдено общее мерило, к этому нечего будет прибавить. В естественных науках каждое новое открытие пролагает новый путь уму и раскрывает новое поле для наблюдений; чтобы не ходить далеко, один уже микроскоп разве не дал возможность познать целый мир, неведомый древним натуралистам? Поэтому в изучении природы прогресс по необходимости беспределен; но в истории изучаешь все одного и того же человека, и орудие, которым мы при этом пользуемся, все одно и то же. Поэтому, если в истории сокрыто великое поучение, то обязательно дойдут когда-нибудь до чего-то определенного, что раз навсегда завершит опыт, т.е. к чему-то вполне рациональному. Я, кажется, приводил вам уже эту удивительную мысль Паскаля, что вся последовательная смена людей не что иное, как один и тот же постоянно сущий человек. Она когда-нибудь должна стать не образным выражением отвлеченного положения, а реальным фактом человеческого разума, и

последний затем вынужден будет при всяком своем действии как бы потрясать всю бесконечную цепь человеческих мыслей на протяжении всех веков. Но возникает вопрос, сможет ли когда-либо человек на месте того совсем личного, совсем обособленного сознания, которое он в себе находит теперь, приобрести такое общее сознание, которое заставило бы его постоянно чувствовать себя частью великого нравственного целого? Да, без сомнения. Подумайте только, наряду с чувством нашей отдельной личности мы носим в сердце чувство связи с родиной, с семьей, с единомышленниками по разделяемым нами убеждениям; чувство это иногда даже более живо, нежели другое; подумайте только, зародыш высшего сознания, несомненно, в нас пребывает, он составляет даже самую сущность нашей природы; теперешнее Я вовсе не вложено в нас каким-то непреложным законом, мы сами внесли его в свою душу; и тогда станет ясно, что все назначение человека состоит в разрушении своего отдельного существования и в замене его существованием совершенно социальным, или безличным. Вы видели, что это единственная основа нравственной философии [18]; Вы видите теперь, что это же есть и основа понятия истории. С этой точки зрения все иллюзии, затемняющие или искажающие различные возрасты всеобщей жизни человеческого существа, не должны быть рассматриваемы с холодным научным интересом, они должны быть исследованы с глубоким чувством нравственной правды. Как отождествиться с никогда не бывшим? Как установить связь свою с небытием? Лишь в истине обнаруживается притягательная сила той и другой природы. Изучая историю, мы должны приучить себя, никогда не увлекаясь ни мечтами воображения, ни привычками памяти, столь же пламенно искать положительного и достоверного, как всегда стремились найти живописное и занимательное. Дело не в том, чтобы заполнять память фактами, их там и так слишком много. Большая ошибка думать, будто обилие фактов обеспечивает в истории достоверность. Совсем не недостаток фактов делает историю спорной, незнание истории вызывается совсем не незнанием фактов, а недостатком их осмысливания и ошибками в рассуждении. Если бы в этой отрасли науки идти к достоверности и стремиться к положительному знанию лишь с помощью фактов, их никогда не будет довольно. Часто одна черточка, если она верно схвачена, освещает и доказывает больше, чем целая летопись. Поэтому для нас должно быть правилом: подвергать обсуждению известные нам факты и стараться иметь в уме больше живых образов, нежели мертвого материала. Пусть другие роются в старой пыли народов, нам предстоит другое. Мы признаем исторический материал совершенно полным, но мы очень мало доверяем логике исторической науки. И если бы в течение времен мы, подобно другим, находили одни только человеческие побуждения, вполне свободную волю, то как бы мы ни нагромождали факты в уме, как бы самым удивительным образом ни выводили их один из другого, история не открыла бы нам ничего того, что мы в ней ищем, мы бы увидели в ней лишь ту же человеческую игру, которую в ней видели все[19]. Это была бы все та же динамическая и психологическая история, о которой я только что Вам говорил и которая пытается все объяснить личностью и воображаемым сцеплением причин и следствий, фантазиями людей и последствиями этих фантазий, якобы неотвратимыми, т.е. представляет человеческий ум собственному его закону, а не понимает, что как раз вследствие неизмеримого превосходства этой части всей природы в целом над остальной ее частью действие высшего закона должно быть здесь еще более очевидным, чем в той другой части[20]. Вот, сударыня, один из самых показательных примеров лживости некоторых исторических представлений, господствующих в наше время. Как вы знаете, греки из искусства создали

величайшую идею человеческого духа. Посмотрите же, в чем состоит это великолепное создание эллинского гения. Идеализовано, возвеличено, обоготворено было то материальное, что есть в человеке; естественный и законный порядок вещей был извращен; то, что должно было навсегда оставаться в низших областях духовного мира, было возведено в высшую область мысли; действие чувств на ум было возвеличено неизмеримо; главная черта, отделяющая божественное от человеческого в разуме, была стерта. Отсюда хаотическое смешение всех нравственных элементов. Ум страстно накинулся на предметы, менее всего достойные его внимания; неслыханную привлекательность приобрело самое порочное в природе человека; на место первоначальной поэзии правды в воображение вторглась поэзия лжи; данная нам могущественная способность представлять себе то, что лишено образа, проникать взором в невидимое стала с тех пор применяться лишь для того, чтобы сделать осязаемое еще более осязаемым, земное — еще более земным; в итоге наше физическое существо настолько же выросло, насколько умалилось духовное. И если такие мудрецы, как Пифагор и Платон, боролись с этим пагубным направлением духа своего времени, их усилия ни к чему не привели, так как они сами более или менее были увлечены тем же, и только тогда, когда христианство обновило человеческое мышление, их учение приобрело настоящее влияние. Вот что совершило искусство греков. Это был апофеоз материи, отрицать этого нельзя. Рассматривают сохранившиеся от того времени памятники, не понимая их значения, восхищаются при виде удивительных вдохновений гения, который, к счастью, более не существует, не подозревая всего нечистого, что при этом рождается в сердце, всего лживого, что возникает в уме; это какой-то культ, опьянение, очарование, в которых нравственное чувство целиком исчезает. А между тем, стоит только хладнокровно отдать себе отчет в том чувстве, которое нас наполняет среди этого бессмысленного восхищения, чтобы убедиться, что его производит самая низменная сторона нашей природы, что, можно бы сказать, мы плотью своей воспринимаем эти мраморные и бронзовые тела. И, заметьте, вся красота, все совершенство этих изваяний происходит только от совершенного безмыслия, которое в них запечатлено: как только там проявится малейший проблеск разума, тотчас исчезает очаровывающий нас идеал. Так что мы созерцаем даже не образ разумного существа, а образ какого-то существа измышленного, своего рода чудовища, порожденного самым беспорядочным извращением человеческого ума, облик которого никак не должен бы был привлекать, а, напротив, отталкивать нас. Вот как предрассудок, эти школьные навыки, эта рутина ума, это очарование обманчивой иллюзии, составляющие современное понятие истории, извращают самые важные предметы исторической философии. Вы, может быть, меня спросите, был ли я сам всегда чужд этих обольщений искусства? Нет, сударыня, совсем напротив; пока я с ними даже и не был знаком, какой-то неведомый инстинкт заставлял меня предчувствовать исходящие от них сладостные наслаждения, которым было суждено заполнить мою жизнь. Когда же одно из величайших событий века привело меня в ту сторону, где завоевание сразу собрало все эти сокровища[105], я следовал общему примеру и еще усерднее, чем другие, курил фимиам на алтаре кумиров. Затем, когда я их во второй раз увидел при свете их родного солнца, я снова восхищался ими с наслаждением[106]. Правда, в глубине этого восхищения всегда таилось что-то горькое, подобное угрызению совести; и потому, когда явилось понимание истины, я, не отбрасывая ни одного из ее последствий, немедленно и без уверток все их принял. Вернемся теперь к этим великим личностям в истории, которых она не оценила или вычеркнула из памяти

людей. Начнем с Моисея, этой самой гигантской и внушительной из всех исторических фигур. К счастью, мы живем не в те времена, когда великий законодатель евреев был даже и для тех, кто принимался рассуждать по существу, одним из выходцев призрачного мира, как все эти сверхъестественные образы — герои, полубоги, пророки, которых встречаешь на первых страницах всех историй древних народов, поэтической фигурой, в которой мысли историка приходится открывать лишь как содержащееся в ней поучение в значении типа, символа или выражения того века, куда ее поместила человеческая традиция. В наши дни, кажется, никто не сомневается в исторической реальности Моисея. И все же, несомненно, окружающая его священная обстановка не особенно для него благоприятная, и он не занимает в истории принадлежащего ему места. Влияние этого великого человека на род человеческий далеко не понято и не оценено, как бы следовало. Его личность слишком затуманена в таинственном свете, который его окружает. Его недостаточно изучали, и Моисей не дает того поучения, какое выносишь из знакомства с великими историческими личностями. Ни общественный, ни частный человек, ни мыслитель, ни деятель не находят теперь в его биографии всего того наставления, которое они могли бы в ней почерпнуть. Это следствие привычек, привитых в уме религией: представляя библейские образы в сверхчеловеческом виде, эти привычки изображают их совсем иными, чем они есть на самом деле[21]. В личности Моисея удивительным образом сочетаются черты величия и простоты, силы и добродушия, твердости и мягкости, над этим можно размышлять без конца. Пожалуй, нет в истории ни одного характера, который соединил в себе столь разнородные черты и силы. Раздумывая об этом необыкновенном существе и о произведенном им на людей действии, я не знаю, чему тут более удивляться — тому ли историческому явлению, которое он вызвал, или тому нравственному явлению, которое я наблюдаю в нем! С одной стороны, эта величественная концепция об избранном народе, т.е. о народе, облеченном высшей миссией, сохранить на земле идею единого Бога, и зрелище невероятных средств, которые он использовал для устройства этого народа таким образом, чтобы эта идея сохранилась в нем не только неприкосновенной, но и еще могла выявиться всесильной, неотразимой, как сила природы, чтобы при виде ее все человеческие силы должны были померкнуть, весь духовный мир преклониться. С другой стороны, простой до слабости человек, человек, не умеющий проявить свой гнев иначе, как истощаясь в убеждениях, поддающийся указаниям первого встречного. Станный гений! Одновременно и самый сильный и самый послушный из людей! Он создает будущее и смиренно подчиняется всему, что предстает перед ним под покровом природы; он говорит с людьми среди грозных явлений природы, голос его раздастся на протяжении веков, он поражает народы как рок — и подчиняется первому движению чувствительного сердца, первому справедливому доводу, который ему приведен. Неужели это не удивительное величие, не единственный урок? Пытались умалить это величие, утверждая, что вначале он не помышлял ни о чем, кроме освобождения своего народа от невыносимого ига, в чем он, действительно, и проявил достойный славы героизм. Стремятся усматривать в нем только удивительного законодателя, и ныне, если не ошибаюсь, законы его признают исключительно либеральными. Сверх того, говорили еще, что Бог его только бог национальный, что всю свою теософию он заимствовал от египтян. Без сомнения, он был патриотом: да и как может не быть им великая душа, какова бы ни была ее миссия на земле! К тому же, это общий закон: чтобы воздействовать на людей, надо влиять в домашнем кругу, там, где кто находится, на социальную среду, в которой кто родился; чтобы явственно говорить роду человеческому, надо

обращаться к своему народу, иначе не будешь услышан и ничего не сделаешь. Чем прямей и деловитей нравственное воздействие человека на ему подобных, тем оно вернее и сильнее; чем более личного заключает в себе речь, тем она действеннее. Ничто так хорошо не указывает на высшее начало, заставляющее действовать этого великого человека, как полная действенность и верность тех средств, которыми он воспользовался для совершения задуманного дела. Конечно, возможно, что он нашел в своем народе или у других народов идею национального Бога, и что он использовал это обстоятельство, как и множество другого, что он нашел у своих естественных предшественников, для того, чтобы ввести в человеческую мысль свой возвышенный монотеизм. Но из этого не следует, что Иегова не был для него тем же, что и для христиан — Богом всемирным. Чем более он стремился выделить и замкнуть этот великий догмат в своем народе, чем больше он затрачивал чрезвычайных усилий для достижения этой цели, тем более обнаруживалась, сквозь всю эту работу высшего разума, всеобщая мысль — сохранить для всего мира, для всех следующих поколений понятие единого Бога. Какие имелись более верные средства воздвигнуть истинному Богу неприкосновенный жертвенник среди политеизма, завладевшего всей землей, кроме как внушить народу, хранителю этого священного памятника, кровную вражду ко всякому народу-идолопоклоннику, связать все социальное бытие этого народа, все его судьбы, все его воспоминания, все его надежды с одним этим принципом? Читайте Второзаконие [107] с этой мыслью в уме, и вы будете поражены светом, который при этом прольется не только на моисееву систему, но и на всю философию откровения. Всякое слово этой удивительной книги обнаруживает сверхчеловеческую мысль, господствующую над умом ее автора. Отсюда вытекают и эти ужасные избиения по приказанию Моисея, которые так разительно противоречат мягкости его нрава и которые так возмутили философию, еще в большей мере бессмысленную, чем нечестивую. Философия эта не понимала, что человек, бывший столь выдающимся орудием в руках провидения, поверенным всех его тайн, мог действовать только подобно провидению, подобно природе; что время и поколения людей не могли иметь для него никакой ценности; что миссия его заключалась не в том, чтобы проявить образец справедливости и нравственного совершенства, а в том, чтобы внедрить в человеческий разум величайшую идею, которую разум этот не мог произвести сам. Неужели думают, что когда он подавлял крик своего любящего сердца, когда он предписывал избивать целые народы, когда он поражал их мечом божеского правосудия, он думал только о расселении тупого и непокорного народа, который он вел за собой? Поистине славная психология! Чтобы подниматься к настоящей причине рассматриваемого ею явления, как она поступает? Она избавляется от этого труда, соединяя в одной душе самые противоположные черты, — черты, соединение которых в одной личности не может быть подкреплено этой психологией ни одним наблюдением! И какое значение имеет, в конце концов, что Моисей и почерпнул некоторые познания в египетской мудрости! И какое значение имеет то, что он и думал вначале об одном избавлении своего народа из-под ярма рабства! Разве из-за этого перестало бы быть истиной, что он осуществлял в этом народе мысль, все равно заимствованную или обретенную в глубине своей души и, окружив эту мысль всеми условиями нерушимости и постоянства, какие только содержит человеческая природа, дал людям истинного Бога, так что все умственное развитие человеческого рода, вытекающее из этого принципа, несомненно ему обязано своим действием. Давид является одной из тех исторических личностей, черты которых нам лучше всего переданы. Ничего нельзя себе представить более

живого, более драматичного, более правдивого, чем его история, и ничего более ярко обрисованного, чем его образ. Рассказ о его жизни, его возвышенные песни, в которых настоящее так удивительно теряется в будущем, так хорошо рисуют нам внутренний мир его души, что нет положительно ничего в его существе, что было бы от нас скрыто. Тем не менее он производит такое же впечатление, как герои Греции и Рима, только на вполне религиозные умы. Это потому, что великие люди Библии, повторяю это еще раз, принадлежат к особому миру; сияние, горящее на их челе, к несчастью переносит их всех в такую область, до которой ум неохотно доходит, в область неподатливых сил, непременно требующих подчинения, где постоянно сталкиваешься лицом к лицу с неумолимым законом, где остается лишь пасть ниц и предаться на волю Божью. И все же как понять движение времен, если не изучать этого движения там, где всего яснее обнаруживаются принципы, это движение вызывающие? Противопоставляя Сократа и Марка Аврелия этим двум гигантам Священного Писания, я хотел, чтобы вы, исходя из контраста столь различных величин, оценили два мира, которые они представляли. Прочитайте прежде у Ксенофонта рассказы о Сократе[108], если возможно, без предубеждения, связанного с памятью о нем; поразмыслите о том, что прибавила к его славе смерть; подумайте о его знаменитом демоне, подумайте о его снисходительном отношении к пороку, которое он, надо признаться, доводил до удивительной степени[22]; подумайте о различных обвинениях, возводимых на него современниками, подумайте о произнесенном им за минуту до смерти слове, завещавшем потомству всю неуверенность его мысли; подумайте, наконец, о всех несхожих, нелепых, противоречивых учениях, вышедших из его школы. Что касается Марка Аврелия, то и здесь не поддавайтесь предубеждениям: вдумайтесь хорошенько в его книгу[109], вспомните Лионскую резню[110], ужасного человека, которому он вручил судьбу вселенной[111], время, в которое он жил, высокое его положение в свете и все возможности величия, которые оно ему доставляло. А затем сравните, прошу вас, результат философии Сократа с результатом религии Моисея, личность римского императора с личностью того, кто из пастухов стал царем, поэтом, мудрецом и олицетворял в себе грандиозную и таинственную идею пророка-законодателя, стал центром того мира чудес, в котором должны были осуществиться судьбы человеческого рода; кто, окончательно определив в своем народе его исключительное и глубокое религиозное устремление, поглотившее затем все существование этого народа, создал таким образом на земле порядок вещей, который только и мог сделать осуществимым рождение истины на земле. И я не сомневаюсь: вы признаете тогда, что если поэтическая мысль представляет нам таких людей, как Моисей и Давид, существами сверхчеловеческими и окружает их необычным блеском, то и здравый смысл, совершенно холодный, принужден будет увидеть в них нечто большее, чем просто людей великих или людей замечательных; и вам станет ясно, что в ходе развития нравственного мира эти люди были, конечно, совершенно прямыми проявлениями верховного закона, правящего миром, и что их появление соответствует великим эпохам физического порядка, которые время от времени преобразуют или обновляют природу[23]. Затем следует Эпикур. Вы понимаете, конечно, что я не придаю особого значения репутации этого человека. Но все же вам надо знать прежде всего, что материализм его ничем не отличается от идей прочих древних философов; только благодаря более откровенному и более последовательному суждению, чем у большинства из них, Эпикур не путался подобно им в бесконечных противоречиях. Языческий деизм представлялся ему тем, чем он на самом деле и был, — нелепостью, спиритуализмом, обманом. Физика его, впрочем, та же, что и у Демокрита, про

которого Бэкон где-то сказал, что это был единственный разумный физик среди древних[112], не стоит ниже воззрений в этой области других натуралистов, его современников; атомы же его, если только устранить метафизику, в настоящее время, когда молекулярная философия стала столь положительной, вовсе не представляются столь смешными, как о них судили ранее. Но имя Эпикура, как вам известно, связано главным образом с его нравственным учением, а последнее и обесчестило его. Однако мы судим о морали Эпикура только по разнузданности его секты и по более или менее произвольным толкованиям, сделанным после него; вы ведь знаете, что собственные писания его до нас не дошли. Конечно, Цицерону позволительно ужасаться при одном имени наслаждения, но я прошу вас оценить это столь опозоренное учение в том виде, как его надо себе представлять, т.е. главным образом на основании известного нам по личности самого автора, и, отрешившись от последствий, которые оно имело в языческом мире, так как последствия эти были вызваны скорее общим направлением человеческого духа того времени, чем самим учением, сравните его затем с прочими нравственными системами древних: вы тогда найдете, что, не будучи столь высокомерным, ни столь суровым, ни столь невыполнимым, как учение стоиков[113], ни столь неопределенным, ни столь туманным, ни столь бессильным, как учение платоников[114], оно было исполнено любви, благоволения, человечности; можно сказать, что оно содержало в себе нечто сродни нравственности христианской. Невозможно отрицать, что в эту философию существенной частью входило нечто совершенно чуждое практической мысли древних элемент единения, связи, благорасположения между людьми. В особенности ему были свойственны здравый смысл и отсутствие заносчивости, что и отличает его учение от всех современных ему философских систем. Сверх того, оно видело высшее благо в душевном мире и в тихой радости, которые переносили на землю небесные блаженства богов. Эпикур самолично подавал пример такого безмятежного существования: он жил почти в полной неизвестности, среди самых нежных привязанностей, погруженный в науку. Если бы его мораль могла закрепиться в сознании народов и не подверглась извращениям порочного начала, господствовавшего тогда в мире, она несомненно водворила бы в сердцах кротость и человечность, распространить которые были неспособны ни кичливая мораль Портика[115], ни мечтательные рассуждения последователей Академии[116]. Обратите еще внимание на то, что Эпикур единственный из мудрецов древности, нравы которого были безупречны, и единственный, память о котором соединялась у его учеников с любовью и почитанием, граничащим с культом [24]. Вы теперь понимаете, почему я был вынужден внести некоторые поправки в наши представления об этом человеке. К Аристотелю мы не станем возвращаться. Он мог бы, однако, составить одну из самых важных глав новой истории, но это слишком обширный предмет, нельзя говорить о нем мимоходом. Заметьте только, пожалуйста, что Аристотель до некоторой степени создание нового духа. Вполне естественно было новому разуму в юности под влиянием мучительной и огромной потребности познаний всеми силами привязаться к этому механизму ума, который при помощи своих рукояток, рычагов и блоков заставлял мыслительную способность работать с поразительной быстротой. Легко понять и то, что он пришелся так по вкусу арабам, которые его первые откопали. Этот внезапно появившийся народ не имел за собой ничего, на что он мог бы опереться; поэтому вполне готовая мудрость должна была ему, естественно, как нельзя более пригодиться. В конце концов, все это миновало — арабы, схоластика, а также и их общий наставник; все они выполнили каждый свое предназначение. Что касается ума, то это придало ему больше устойчивости, и

уверенности в себе; ход его развития стал поэтому более уверенным; он усвоил себе приемы, облегчающие движение и ускоряющие его работу. Как видите, все устроилось к лучшему; зло обратилось в добро благодаря силам и скрытым источникам знания нового разума. Теперь нам надо вернуться назад, снова вступить на широкий путь той поры, когда ум не имел в своем распоряжении других орудий, кроме золотых и лазоревых крыльев своей ангельской природы. Перейдем к Магомету. Если подумать о благе, вытекающем для человека из его религии, то видно, что, во-первых, она вместе с другими более сильными причинами содействовала уничтожению многобожия, затем, что она распространила на громадном протяжении земного шара, и притом в таких областях, которые можно было считать недоступными влиянию общего движения разума, — идею единого Бога и всемирного верования: она таким образом приготовила бесчисленное множество людей к конечным судьбам человеческого рода; поэтому необходимо признать, что, несмотря на дань, которую этот великий человек заплатил своему времени и своей родине, он заслуживает несравненно большего уважения людей, чем толпа бесполезных мудрецов, которые никогда не умели воплотить и использовать ни одного из своих измышлений, а лишь раздробили человеческое существо вместо того, чтобы стремиться к объединению разрозненных элементов его природы. Исламизм есть одно из самых замечательных проявлений общего закона; судить о нем иначе, значит не понимать всемирное влияние христианства, от которого он происходит. Самое существенное свойство нашей религии состоит в способности принимать самые различные формы религиозного мышления, в умении согласовывать свои действия в случае необходимости, даже и с заблуждением, для того чтобы достигнуть конечного результата. В великом историческом развитии религии откровения религия Магомета должна быть непременно рассматриваема как одно из ее разветвлений. Самый исключительный догматизм должен без затруднений признать этот важный факт; он бы это и сделал, если бы только хоть раз отдал себе ясный отчет в том, что именно заставляет нас смотреть на магометан как на естественных врагов нашей религии, потому что только из этого и возник данный предрассудок[25]. Впрочем, вы знаете, что почти нет главы в Коране, где бы не говорилось об Иисусе Христе. А мы согласились на том, что нет ясного понятия о великом деле искупления, что ничего не понятно в тайне царства Христа, пока не видно действия христианства везде, где только произнесено имя Спасителя, пока не понятно, что его влияние распространяется на все умы, соприкасающиеся как бы то ни было с его учением: в противном случае пришлось бы исключить из числа пользующиеся благами искупления великое множество людей, носящих имя христиан; не значило ли это свести все царство Иисуса Христа к ничтожным пустякам, а всемирность христианства к смешному притворству? Итак, магометанство как результат религиозного брожения, вызванного на Востоке появлением новой веры, стоит в первом ряду тех явлений, которые на первый взгляд не вытекают из христианства, но на самом деле, конечно, исходят из него. Таким образом, помимо влияния отрицательного, которое оно имело на образование христианского общества, сливая разрозненные интересы народов в единую задачу общего спасения, помимо богатого материала, который цивилизация арабов передала нашей, что следует рассматривать как косвенные пути, использованные провидением для довершения возрождения человеческого рода, — в собственном воздействии ислама на дух покоренных им народов следует видеть прямое положительное действие учения, из которого оно исходит, которое здесь лишь приспособилось к некоторым местным и современным потребностям для того, чтобы получить средство посеять



семена истины на более обширном пространстве. Счастливы те, кто служит Господу сознательно и убежденно! Но не забудем и того, что имеется в мире бесконечное множество сил, послушных голосу Христа, хотя они не имеют никакого понятия о верховной силе, которая приводит их в движение! Нам остается еще сказать о Гомере. В наши дни вопрос о влиянии Гомера на человеческий ум вполне разрешен. Отлично знают теперь, что такое поэзия Гомера; знают, каким путем она способствовала образованию характера греков, который, в свою очередь, определил характер всего древнего мира; знают, что эта поэзия заменила другую поэзию, более возвышенную и чистую, от которой сохранились одни отрывки; знают также, что она сменила другой круг представлений, зародившихся не на греческой почве, и что эти-то первоначальные представления, оттесненные новой мыслью, нашли приют в таинствах Самофракии[117] и других святилищ утраченных истин и продолжают жить только для небольшого числа избранных или посвященных[26]. Не знают, как мне кажется, только того, что может быть общего у Гомера со временем, в котором мы живем, того, что до сих пор уцелело от него в мировом сознании. А именно в этом и заключается значение настоящей философии истории, так как главный предмет ее изучения, как мы видели, не что иное, как изыскание постоянных результатов и вечных последствий исторических явлений. Итак, для нас Гомер еще и теперь Тифон[118] или Ариман[119] современного мира, как он был им и для мира, им созданного. На наш взгляд, гибельный героизм страстей, запятнанный идеал красоты, необузданное влечение ко всему земному — все это и теперь заимствовано нами у него[27]. Заметьте, что никогда не было ничего подобного в других цивилизованных обществах мира. Одни только греки решились таким образом идеализировать и обожествлять порок и преступление; поэзия зла нашла себе, следовательно, место только у них и у народов, унаследовавших их цивилизацию. Можно ясно разглядеть, изучая средние века, какое направление приняла бы мысль христианских народов, если бы они всецело вверились руке, которая их вела. Итак, эта поэзия не могла к нам явиться от своих северных предков, — ум людей севера был создан совсем по-иному и менее всего стремился привязаться к земному; если бы он один сочетался с христианством, он бы, вместо того, что произошло, скорее затерялся бы в туманной неопределенности своего мечтательного воображения. К тому же, в нас нет более ни капли крови, текшей в их жилах, и мы ищем уроков жизни не среди народов, описанных Цезарем и Тацитом, а среди тех, которые составляют мир Гомера; только с недавнего времени возврат к нашему собственному прошлому начинает водворять нас в наше семейное лоно и дает нам возможность мало-помалу вновь обретать отцовское достояние. От народов севера мы унаследовали лишь одни привычки и традиции; разум не питается только знанием: самые застарелые обычаи теряются, пустившие наиболее глубокие корни традиции стираются, если те и другие не связаны со знанием. Между тем все наши идеи, за исключением идей религиозных, идут, конечно, от греков и римлян. Таким образом, поэзия Гомера, после того, как она в старину на западе отвела в другое русло течение мыслей, привязывающих людей к великим дням творения, совершила то же и в новое время; переносясь к нам с наукой, философией и литературой древних, она так успешно отождествила нас с ним, что мы еще и сейчас на самом деле все еще колеблемся между миром лжи и миром истины. Хотя в наши дни Гомером занимаются очень мало и хотя, наверное, его совсем не читают, его боги и его герои, тем не менее, все еще оспаривают почву у христианской идеи. И действительно, есть какая-то поразительная прелесть в этой поэзии, всецело земной, чисто материальной, необычайно снисходительной к порочности нашей

природы: она ослабляет напряжение ума, держит его безрассудно прикованным к своим призракам и самообольщениям, убаюкивает и усыпляет его своими мощными иллюзиями. И пока глубокое нравственное чувство, порожденное ясным представлением всей древности и совершенным погружением ума в христианскую истину, не наполнит наши сердца отвращением к этим векам обмана и безумия, которые нами еще владеют, к этим настоящим сатурналиям[120] в жизни человеческого рода; пока некое сознательное раскаяние не заставит нас краснеть за бессмысленное поклонение, которое мы слишком долго расточали перед этим отвратительным величием, этими ужасными добродетелями, этой нечистой красотой, до тех пор старые вредные впечатления не перестанут составлять наиболее жизненный и деятельный элемент нашего разума. Лично я думаю, что для совершенного возрождения, в согласии с разумом откровения, нам не хватает еще какого-то огромного испытания, какого-то грозного искупления, вполне прочувствованного всем христианским миром в целом и всеми испытанного как великая физическая катастрофа на всем пространстве нашего мира; я не постигаю, как без этого мы могли бы избавиться от грязи, еще оскверняющей нашу память [28]. Вот как философия истории должна понимать гомеризм. Посудите теперь, какими глазами она должна смотреть на Гомера! Разве на этом основании не должна она по совести наложить на его чело несмываемое клеймо бесчестия! Вот, сударыня, мы и у конца нашей галереи. Я не договорил всего, что намеревался Вам сказать, но пора кончать. А знаете ли Вы вот что: в сущности, до Гомера, греков, римлян, германцев нам, русским, нет никакого дела. Нам все это вполне чуждо. Но что поделаешь! Поневоле приходится говорить языком Европы. Наша чужеземная цивилизация так загнала нас в Европу, что хотя мы и не имеем ее идей, у нас нет другого языка, кроме языка той же Европы; им и приходится пользоваться. Если ничтожное количество установившихся у нас умственных навыков, традиций, воспоминаний, если ничто вообще из нашего прошлого не объединяет нас ни с одним народом на земле, если мы на самом деле не принадлежим ни к какой нравственной системе вселенной, своими социальными мерками мы все же связаны с западным миром. Эта связь, надо признаться, очень слабая, не соединяющая нас с Европой так крепко, как это воображают, и не заставляющая нас ощущать всей своей сущностью великое движение, которое там совершается, все же ставит нашу будущую судьбу в зависимость от судьбы европейского общества. Поэтому, чем более мы будем стараться с нею отождествиться, тем лучше нам будет. До сих пор мы жили обособленно; то, чему мы научились от других, осталось вне нас как простое украшение, не проникая в глубину наших душ; в наши дни силы высшего общества так возросли, его действие на остальную часть человеческого рода так расширилось, что вскоре мы будем увлечены всемирным вихрем, и телом и духом, это несомненно: нам никак не удастся долго еще пробыть в нашем одиночестве. Сделаем же, что в наших силах, для расчистки путей нашим внукам. Не в нашей власти оставить им то, чего у нас не было: верований, разума, созданного временем, определенно обрисованной личности, убеждений, развитых ходом продолжительной духовной жизни, оживленной, деятельной, богатой результатами; оставим им, по крайней мере, несколько идей, которые, хотя бы мы и не сами их нашли, переходя из одного поколения в другое, — тем не менее, они получают нечто, свойственное традиции, и тем самым приобретут некоторую силу, несколько большую способность приносить плод, чем это дано нашим собственным мыслям. Этим мы оказали бы услугу потомству и не прошли бы без всякой пользы свой земной путь. Прощайте, сударыня. От вас одной зависит, чтобы я, как только вы пожелаете, вновь заговорил на ту же тему. А пока в задушевной беседе, где

собеседники подхватывают мысль друг друга с полуслова, зачем разрабатывать и исчерпывать до дна каждую мысль? Если сказанное мною побудит вас поискать каких-либо новых указаний при изучении истории, возбудит к ней более глубокий интерес, чем обыкновенно там находят, — я большего не домогаюсь[121]. Москва, 1829, 16 февраля.

## ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

Да, сударыня, пришло время говорить простым языком разума. Нельзя уже более ограничиваться слепой верой, упованием сердца; пора обратиться прямо к мысли. Чувству самому по себе не проложить себе пути через всю эту грудю искусственных потребностей, неистовых интересов, беспокойных забот, овладевших жизнью. Во Франции и Англии она стала слишком сложной, слишком подвластной интересам, слишком личной; в Германии — она слишком отвлеченна, слишком эксцентрична, так что веления сердца утрачивают там присущую им силу. А об остальном мире сейчас не стоит и говорить. Приходится ныне свести вопрос к одной, основанной на учете всех возможностей, задаче, разрешение которой было бы по плечу всем умам, подходило бы ко всяким настроениям, не поражало бы ничьих наличных интересов и таким образом могло бы увлечь даже самые непокорные умы. Это не значит, что предметы чувства навсегда изъяты из мира мысли. Не дай Бог, настанет вновь и их черед. И тогда мы их увидим столь сильными, широкими, чистыми, какими они еще никогда не бывали. Я не сомневаюсь, время это скоро настанет. Но в наши дни, в данной обстановке, чувствам не дано потрясать души. Очень важно проникнуться этим сознанием. Правда, сейчас заметно некоторое пробуждение живых дарований, свойственных юношеской поре человечества. Но это лишь заря прекрасного дня; равнины пока сплошь покрыты сумеречной тенью, только некоторые вершины начинают загораться первыми лучами рассвета. Для всякого, кому истина не безразлична, явные признаки ее налицо. Знаете ли вы, сударыня, что я разумею под этими признаками? Это вся совокупность исторических фактов, должным образом проработанных. Сейчас их надо свести в стройное целое, облечь в доступную форму и так их выразить, чтобы они подействовали на душу людей, самых равнодушных к добру, менее всего открытых правде, на тех, кто еще топчется в прошлом, когда для всего мира оно уже миновало и, конечно, более не вернется, но которое еще живо для ленивых сердец, для низменных душ, никогда не угадывающих настоящего дня, а вечно пребывающих во вчерашнем. Окончательное просветление должно вытекать из общего смысла истории. И этот смысл должен быть впредь сведен к идее высшей психологии, а именно, чтобы раз навсегда человеческое существо было постигнуто как отвлеченное разумное[122], а отнюдь не существо обособленное и личное, ограниченное в данном моменте, т.е. насекомое-поденка, в один и тот же день появляющееся на свет и умирающее, связанное с совокупностью всего одним только законом рождения и тления. Да, надо обнаружить то, чем действительно жив человеческий род: надо показать всем таинственную действительность, которая скрывается в глубине духовной природы и которую пока еще усматривают только при некотором особом озарении. Лишь бы не быть слишком исключительным, мечтательным, или схематичным, а главное — лишь бы говорить с веком языком века, а не устарелым языком догмата, ставшим непонятным, и тогда, без всякого сомнения, успех обеспечен, — именно в наше

время, когда и разум, и наука, и даже искусство страстно рвутся навстречу новому нравственному перевороту, как это было и в великую эпоху Спасителя <мира>. Я вам уже не раз говорил о влиянии христианской истины на общество. Но я сказал не все. Трудно этому поверить, а между тем то, что я скажу, совсем еще новая мысль: нравственное значение христианства достаточно оценено, но о чисто умственном его действии, о могучей силе его логики почти еще не думают. Ничего еще не было сказано о том значении, которое имело христианство в развитии и в образовании современной мысли. Пока еще не осознано, что вся наша аргументация христианская; мы все еще мыслим себя в царстве категорий и силлогизмов Аристотеля. Дело в том, что нескончаемые сетования философов и диссидентов на те века, когда всецельны были якобы одни только предрассудки, невежество и фанатизм, заставили нас совершенно упустить из виду, как благодетельно было действие веры. Так что, когда пыл неверия миновал, самые праведные и смиренные уже оказались чуждыми на собственной своей почве и лишь с большим трудом вновь водворяли в своих мыслях все на свои места. Правда, эти умы к тому же не интересуются в должной мере изучением чисто человеческой действительности. Они к этому относятся слишком пренебрежительно. По привычке созерцать действия сверхчеловеческие, они не замечают действующих в мире природных сил и почти совсем упускают из виду вещественные условия умственной деятельности. Как бы то ни было, пора современному разуму признать, что всей своей силой он обязан христианству. Пора уразуметь, что лишь при содействии необычайных средств, дарованных откровением, и благодаря той живой ясности, которую оно сумело внести во все предметы человеческого мышления, воздвигнуто величавое здание современной науки. Эта горделивая наука должна, наконец, сама признать; что она так высоко поднялась только благодаря строгой дисциплине, незыблемости принципов и, прежде всего, благодаря инстинкту и страстному исканию истины, которые она нашла в учении Христа. По счастью, мы живем уже не в те времена, когда упорство сторон принималось за убеждение, а выпады сект — за благочестивое рвение. Можно поэтому надеяться, что удастся сговориться. Но вы, конечно, согласитесь, что не истине делать уступки. И тут дело не в требованиях этикета: для законного авторитета уступка означала бы отказ от всякой власти, всякой активной роли, уступка была бы самоуничтожением. Вопрос тут не в поддержании престижа, не в каком-либо внешнем впечатлении. Всякий престиж навсегда утратил значение, и иллюзии отошли в вечность. Дело идет о самой реальной вещи, более реальной, чем это можно выразить словами. Ведь протекшее определяет будущее: таков закон жизни. Отказаться от своего прошлого, значит лишить себя будущего. Но те триста лет, которые числит за собой великое христианское заблуждение[123], вовсе не такое воспоминание, которое не могло бы быть при желании стерто. Отколовшиеся могут поэтому строить свое будущее согласно своему желанию. Исконная община изначально дышала лишь надеждой и верой в обещанное ей предназначение, а они — пребывали до сих пор без всякой идеи будущего. Необходимо, однако, прежде всего выяснить одно важное обстоятельство. Между предметами, которые способствуют сохранению истины на земле, одним из наиболее существенных является, без сомнения, священная книга Нового Завета. К книге, содержащей подлинный акт установления нового порядка на земле, естественно относятся с особым непререкаемым уважением. Слово писаное не улетучивается, как слово произнесенное. Оно кладет свою печать на разум. Оно его сурово подчиняет себе своею нерушимостью и длительным признанием святости. Но вместе с тем, кодифицируя дух, слово лишает его подвижности, оно гнетет его,

втесняя его в узкие рамки писания, и всячески его сковывает. Ничто так не задерживает религиозную мысль в ее высоком порыве, в ее беспредельном шестивии вперед, как книга; ничто так не затрудняет вполне прочного утверждения религиозной мысли в человеческой душе. В религиозной жизни все теперь основано на букве, и подлинный голос воплощенного разума пребывает немым. Самона истины раздаются только лишенные силы и авторитета слова. Проповедь стала лишь случайным явлением в строительстве добра. А между тем, — надо же, наконец, прямо признать это, — проповедь, переданная нам в писании, была, само собою разумеется, обращена к одним присутствовавшим слушателям. Она не может быть одинаково понятна для людей всех времен и всех стран. По необходимости она должна была принять известную местную и современную ей окраску, а это замыкает ее в такие пределы, вырваться из которых она может лишь с помощью толкования, более или менее произвольного и вполне человеческого. Так может ли это древнее слово всегда вещать миру с той же силой, как в то время, когда оно было подлинной речью своего века, действительной силой данного момента! Не должен ли раздаться в мире новый голос, связанный с ходом истории, такой, чтобы его призывы не были никому чужды, чтобы они одинаково гремели во всех концах земли и чтобы отзвуки и в нынешнем веке наперебой его схватывали и разносили его из края в край вселенной! Слово, — обращенный ко всем векам глагол, — это не одна только речь Спасителя, это весь его небесный образ, увенчанный его сиянием, покрытый его кровью, с распятием на кресте. Словом, тот самый, каким Бог раз навсегда запечатлел его в людской памяти. Когда сын Божий говорил, что он пошлет людям дух и что он сам пребудет среди них вечно, неужели он помышлял об этой книге, составленной после его смерти, где худо ли, хорошо ли, рассказано о его жизни и его речениях и собраны некоторые записи его учеников? Мог ли он полагать, что эта книга увековечит его учение на земле? Конечно, не такова была его мысль. Он хотел сказать, что после него явятся люди, которые так вникнут в созерцание и изучение его совершенств, которые так будут преисполнены его учением и примером его жизни, что нравственно они составят с ним одно целое; что эти люди, следуя друг за другом из поколения в поколение, будут передавать из рук в руки всю его мысль, все его существо: вот что он хотел сказать и вот именно то, чего не понимают. Думают найти все его наследие в этих страницах, которые столько раз искажены были различными толкователями, столько раз сгибались по произволу. [Как известно, христианство упрочилось без содействия какой бы то ни было книги. Начиная со второго века оно уже покорило мир. И с тех пор человеческий дух был ему подчинен безвозвратно.][124] Воображают, что стоит только распространить эту книгу по всей земле, и земля обратится к истине: жалкая мечта, которой так страстно предаются отколовшиеся. Его божественный разум живет в людях, таких, каковы мы и каков он сам, а вовсе не в составленной церковью книге. И вот почему упорная привязанность со стороны верных преданию к поразительному догмату о действительном присутствии тела в евхаристии[125] и их не знающее пределов поклонение телу Спасителя столь достойны уважения. Именно в этом лучше всего постигается источник христианской истины: здесь всего убедительнее обнаруживается необходимость стараться всеми доступными средствами сделать действительным присутствие среди нас Богочеловека, вызывать беспрестанно его телесный образ, чтобы иметь его постоянно перед глазами, во всем его величии, как образец и вечное поучение нового человечества. По-моему, это заслуживает самого глубокого размышления. Этот странный догмат об евхаристии, предмет издевательства и презрения, открытый со стольких сторон злым нападкам человеческих доводов, сохраняется в

некоторых умах, несмотря ни на что, нерушимым и чистым. В чем тут дело? Не для того ли, чтобы когда-нибудь послужить средством единения между разными христианскими учениями? Не для того ли, чтобы в свое время явить миру новый свет, который пока еще сокрыт в тайниках судьбы? Я в этом не сомневаюсь. Итак, хотя печать, наложенную человеческой мыслью, надо признать необходимой составной частью нравственного мира, настоящая основа слияния сознаний и мирового развития разумного существа, на самом деле, содержится в ином, а именно в живом слове, в слове, которое видоизменяется по временам, странам и лицам и пребывает всегда тем, чем оно должно быть; которое не нуждается ни в разъяснениях, ни в толкованиях, подлинность которого не требует защиты на основе канонов, — в слове, этом естественном орудии нашей мысли. Так что предположение, будто вся мудрость заключается в столбцах одной книги, как это утверждают протестанты, не скажу даже — не правомерно, оно, во всяком случае, не имеет ничего общего с философией. С другой стороны, несомненно, есть высшая философия в этих столь устойчивых верованиях, заставляющих людей закона признавать другой источник истины, более чистый, другой авторитет, менее земной. Надо уметь ценить этот христианский разум, столь уверенный в себе, столь точный, столь определенный в этих людях: это инстинкт правды, это последствие нравственного начала, перенесенного из области поступков в область сознания; это бессознательная логика мышления, вполне подчинившегося дисциплине. Удивительное понимание жизни, принесенное на землю создателем христианства; дух самоотвержения; отвращение от разделения; страстное влечение к единству: вот что сохраняет христиан чистыми при любых обстоятельствах. Так сохраняется раскрытая свыше идея, а через нее совершается великое действие слияния душ и различных нравственных сил мира в одну душу, в единую силу. Это слияние — все предназначение христианства. Истина едина: царство Божье, небо на земле, все евангельские обетования все это не иное что, как прозрение и осуществление соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта единая мысль есть мысль самого Бога, иначе говоря, — осуществленный нравственный закон. Вся работа сознательных поколений предназначена вызвать это окончательное действие, которое есть предел и цель всего, последняя фаза человеческой природы, разрешение мировой драмы, великий апокалипсический синтез.

#### СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АС — Апология сумасшедшего

АТ — Архив братьев Тургеневых. СПб.; М., 1911 — 1921. Вып. 1 — 6

Барсуков — Барсуков Н Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888 - 1901. Кн. I — XXII.

ВЕ — Вестник Европы ВрПК — Временник Пушкинской комиссии

ГАГО — Государственный архив Горьковской области

ГБЛ — Отдел рукописей Гос. Библиотеки им. В. И. Ленина

Герцен — Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954 — 1966

Гершензон — Гершензон М. О. П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление. СПб., 1908

ГМ — Голос минувшего

ГПБ — Отдел рукописей и Редких книг Гос. публичной библиотеки им. М. Е.

Салтыкова — Щедрина

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения

ИВ — Исторический вестник ИМЛИ — Рукописный отдел Института мировой литературы АН СССР

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР  
Каталог — Каталог библиотеки П. Я. Чаадаева. М., 1980  
Лемке — Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826 - 1855 гг. СПб., 1908  
ЛН — Литературное наследство. М., 1935. Т. 22 — 24; во всех остальных случаях указывается *Ль* тома  
НГУАК — Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии: Сб. статей. Н. — Новгород, 1909. Т. VIII  
ОА — Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899 — 1909. Т. I — V  
ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Гос. исторического музея  
ОРМ — Отрывки и разные мысли Письма — Чаадаева и к Чаадаеву  
Пушкин — Пушкин А. С'. Поли. собр. соч. М.; Л., 1937 — 1949. Т. I - XVI  
РА — Русский архив  
РВ — Русский вестник  
РЛ — Русская литература  
РМ — Русская мысль  
РС — Русская старина  
Свербеев — Записки Д. Н. Свербеева. М., 1899. Т. 1 — 2  
СН — Старина и новизна  
СП I, II — Сочинения и письма П. Я. Чаадаева /Под ред. М. О. Гершензона М., 1913 — 1914. Т. I — II.  
Тарасов — П. Я. Чаадаев. Статьи и письма /Составл., вступ. статья и коммент. Б. Н. Тарасова. М., 1987  
Тарасов I — В мире человека. М., 1986  
Тарасов II — Чаадаев. (ЖЗЛ). М., 1986  
ФП I — VIII — Философические письма  
ЦГАЛИ — Центральный гос. архив литературы и искусства  
ЦГВИА — Центральный гос. военно-исторический архив  
ЦГТМ — Центральный гос. театральный музей им. А. А. Бахрушина  
Якушкин — Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951  
Gagarin — Oeuvres Choiesies de Pierre Tchaadaief publiees poing la premiere fois par le Pere Gagarin. P., Lpz, 1862  
Quenet — Quenet Ch. Tchaadaev et les Lettres philosophiques Contribution a l'etude du mouvement des idees en Russie. P., 1931  
McNally — Chaadaev's Philosophical Letters Written to a Lady and his Apologia of a Madman //Forschungen zur osteuropaischen Geschichte. B., 1966. S. 24 — 128. Bd. XI  
Rouleau — Tchaadaev P. Lettres philosophiques, adressees a une dame /Presentees par Francois Rouleau. P., 1970  
Togava — Tchaadaev Pierre. Fragments et pensees diverses (inedites) /Presentees par Tsuguo Togava //Slavic Studies: Journ. of the Slavic Research Center of Hokkaido University. Sapporo, 1979. N 23. P. 1 — 52

---

[1] Евангелие от Матфея, 6, 10.

[2] Имеется в виду второе из писем Е. Д. Пановой к П. Я. Чаадаеву, по-видимому 1829 г. См. об этих письмах и их текст в Приложениях.

[3] Сокращенный текст Евангелия от Иоанна, 17.11. Современный полный перевод: "Отче Святой! Соблуди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и Мы".

[4] Речь идет о теории катастроф Кювье, о котором Чаадаев писал также в письме к И. Д. Якушкину (Письма. Л 75).

[5] См.: Цицерон. Об ораторском искусстве, XXXV, 120.

[6] С переводом этого места возникает трудность. Чаадаев употребил здесь глагол "retrouveront", т.е. "вновь найти", "вновь обрести", и мы так и переводим его. Гершензон и Шаховской переводят этот глагол просто "обрести" (СП II. С. 113), хотя во французском тексте приведен именно названный глагол и для русского слова, употребленного ими, существует глагол "trouveront". Но задача здесь не просто лингвистическая, а семантическая. Почему Чаадаев пишет "обрести себя вновь", если, по его мнению, Россия никогда прежде (в истории) не находила себе места в совокупном человечестве? Небезынтересно отметить также, что в тексте ФП I, напечатанном в "Телескопе", этой строки вообще нет (СП II. С. 9).

[7] Друиды — жрецы у кельтов.

[8] Скальды — средневековые норвежские и исландские поэты.

9) Барды — певцы древних кельтских племен.

[10] Имеется в виду Петр I.

[11] Имеется в виду Александр I.

[12] Имеется в виду заграничный поход русской армии 1813 - 1814 гг.

[13] Имеется в виду восстание декабристов. Здесь восстановлен текст "осуждения" декабристов, который был смягчен в изданиях Гагарина — Гершензона по сравнению с тем, что содержалось в оригинале, которым располагал Гагарин. В письме к "Александру Ивановичу" (вероятно, Герцену) от 17 июля 1860 г. Гагарин сообщал, что текст ФП I он получил от Н. И. Тургенева. "Я по требованию Николая Ивановича, — писал Гагарин, — вычеркнул "дурные идеи и роковые ошибки" и напечатал" (ГБЛ М 8526 24 — старый шифр, 1940) — далее следует текст, переведенный Гершензоном так: "идеи и стремления" (СП II. С. 117; Д. И. Шаховской перевел приведенные Гагариным слова несколько иначе, чем Гагарин: "дурные идеи и губительные заблуждения", как и напечатано в нашем издании). Следует также отметить, что в оригинальном тексте и в варианте Тургенева — Гагарина. Там напечатано, что мы "принесли домой" "одне дурные понятия, губительные заблуждения, которые отодвинули нас назад еще на полстолетия" (СП II. С. 13) — о бедственных последствиях речи нет.

[14] Символ веры — краткое изложение христианских догматов; сформулирован на Никейском вселенском Соборе 325 г. и видоизменен в 362 и 374 годах. Добавления к этому символу веры, сделанные к VII в. н.э. (гл. обр. filioque), послужили одним из поводов к "схизме". Чаадаев будет обсуждать проблему "filioque" и в дальнейшем, особенно в переписке с кн. Е. А. Долгоруковой (Письма. Л 171 и примеч. 4 к нему; Л 172 и примеч. 4 — 9).

[15] Речь идет о книге В. М. Головнина "Записки о приключениях в плену у японцев" (ч. 1 — 3, СПб., 1816), содержащей богатейшие материалы о Японии. Труд Головнина, несмотря на перенесенные им во время трехлетнего плена лишения, отличался беспристрастием и искренним стремлением к сближению русского и японского народов. За короткий срок книга была переведена на все европейские языки. В 1825 г. был издан первый японский перевод. Бесхитростный рассказ "Монтаня у японцев" (Батюшков К. Н. Соч., СПб., 1887. Т. III. С. 423) пользовался значительным успехом в русском обществе 1820-х годов. Указание Руло (Rouleau. P. 58), что Чаадаев имел в виду русского государственного деятеля, посетившего по



поручению правительства Японию в 1804 — 1805 гг. с целью установления торговых отношений между двумя странами, Н. П. Резанова, неверно.

[16] Речь идет о поэме Т. Тассо "Освобожденный Иерусалим" (1580; рус. пер. 1900).

[17] Имеется в виду английская буржуазная революция 1640 г. В переводе "Телескопа" были внесены отсутствующие в авторском тексте имена "Карл I и Кромвель" (см. СП I. С. 17), о чем была сделана помета в отобранном у Чаадаева авторизованном списке ФП I.

[18] Чаадаев подразумевает здесь дебаты вокруг принятия Билля о правах (1829), уравнивавшего в правах католиков и протестантов.

[19] Евангелие от Марка, 16, 15. Современный полный перевод: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари".

[20] Об этих словах Чаадаева см. разъяснения в Примеч. 23.

[21] Некрополис — город мертвых (греч.). Так Чаадаев называет здесь Москву.

[22] Эта датировка требует разъяснений. ФП VII датировано более ранней датой — 16 февраля того же года, и тогда получается, что оно написано ранее первого. Но это не так, и этот факт свидетельствует лишь о том, что наиболее распространенный в печати вариант первого Письма с датировкой не является первоначальным. Как видно из письма Чаадаева Цынскому, первое Письмо написано еще в 1828, быть может в самом начале 1820 г., но никак не в конце его (декабре): Чаадаев познакомился с Пановой "в 1827 году", а "на другой год... получил я письмо, на которое отвечал тем, которое напечатано в Телескопе" (Письма. Лб 88). Что Чаадаев не медлил с ответом, видно из его слов в конце первого Письма (ФП I. С. 339): "Я взялся за перо в самый день получения письма (Пановой. — Ред.)". Это и был исходный вариант ФП I, который не был датирован, известный нам как Тург1 и Тург2, а датирован декабрем 1829 более поздний. Что ФП VII не было первым (как это выходит по датировке), видно также и на того, что оно содержит ссылки на предыдущие (на ФП V, где речь идет о Паскале, и на "другие письма" в подстрочных примечаниях). Что же касается ссылки ФП I на некое более раннее сочинение, то она может означать ссылку позднего варианта, относящегося, по-видимому, к 1835 г., на ФП VII. В нем нет буквально приведенного Чаадаевым в кавычках текста, но есть довольно близкие формулы и идентичные мысли (ср. ФП VII: "...ничего не понятно в тайне царства Христа..." и далее). Изложение этих идей ФП VII в ФП I имеет тот смысл, что в последнем теория исторического процесса не развита и в изолированном от других писем чтении ФП I (каковым это чтение оказывалось при публикации только ФП I) была бы неясной читателю. О ходе работы Чаадаева над письмами см., кроме введения к этим примечаниям, заметку Д. И. Шаховского "П. Я. Чаадаев — автор "Философических писем"", предваряющую публикацию пяти из них (ЛН. С. 14 — 15).

[23] Второе письмо, не по гагаринскому, а по настоящему счету, тесно примыкает к первому, вступительному. То кончалось словами: "На этот раз вам не придется долго ждать: завтра снова берусь за перо". Это же начинается так: "Если я удачно передал намеренно свою мысль..."

[24] Чрезвычайно показательно для понимания Чаадаевым христианства и его Мироззрения вообще проводимое здесь отрицательное отношение к аскетизму.

[25] Все эти картины природы, по-видимому, списаны из диалога Платона "Федр".

[26] Конечно, при чтении этих строк сразу вспоминается обстановка диалога Платона "Пир". Об этом диалоге говорится и в ФП VII. О Платоне Чаадаев несколько раз упоминает и в других Письмах. (см., напр., ФП II, примеч. 8). Более существенные замечания о нем даются затем в ФП III (где он, впрочем, не назван) и ФП V.

Сочинения Платона были широко представлены в библиотеке Чаадаева (Каталог. ЛЬ 545 — 550). На многих страницах имеются различные пометки владельца.

[27] Здесь кончается перевод текста, взятого из жихаревского собрания, и начинается текст части Письма, сохранившейся среди отобранных у Чаадаева бумаг.

[28] Этой последней фразы нет в переводе Д. И. Шаховского.

[29] Странно читать эти строки, рисующие истинное положение дел, после толы"о что нарисованных пленительных картин. В последних словах автор, очевидно, тщательно обрисовывает два вида помещичьего владения крепостными: окружающий ядовитый воздух — дворовые; ядовитая почва — крестьяне на барщине.

[30] Слова эти напоминают стих Грибоедова: Я ненавижу слово раб!

[31] Аристотель действительно высказывал в "Политике" приписываемые ему здесь мысли: "одни люди по природе свободны, другие — рабы" (Аристотель. Соч. М., 1984. Т. 4. С. 384).

[32] Не входя в подробную критику слов Чаадаева о борьбе христианства с рабством, отметим только, что оно и на Западе более чем терпимо относилось к этому институту. Сам Чаадаев хорошо знал это и в своей заграничной поездке запасался брошюрами о Вильяме Вильберфорсе и самой его брошюрой (Каталог. ЛЬ 679), имея в виду, вероятно, использовать его высказывания для поучения своих соотечественников. В своем враждебном отношении к факту лишения людей свободы Чаадаев пытается использовать довод, приходящий ему на ум, упуская из виду то, что и на Западе церковь мирилась с рабством.

[33] В словах о пушках на Босфоре имеется в виду блокада Босфора эскадрой адм. Грейга в мае 1829 г. Под громом пушек на Евфрате разумеется, конечно, взятие Эрзерума армией (в которой находился и самовольно туда попавший Пушкин) под предводительством Паскевича и апреле 1829 г. Несколько странно, что именно к ФП II, которое следует считать написанным позже 1 декабря 1829 г., даты написания ФП II, приурочены события апреля — мая 1829 г. Вероятно, сопоставление было в черновике, где материал мог быть иначе отредактирован.

[34] Антоний — один из основателей христианского монашества, живший в Египте с середины III до середины IV в. н.э. Легенды об искушении его в пустыне дали богатый материал множеству писателей и художников.

[35] Бытие, 3, 22.

[36] В этом месте в сохранившейся рукописи несомненно пропущено несколько слов. Помещенные в квадратных скобках слова включены по смыслу всего места и по аналогии с соответствующими местами в ФП IV и ФП V.

[37] Евангелие от Иоанна, 1, 9 — 10.

[38] Как уже говорилось, Чаадаев намеревался начать публикацию своих Писем с ФП III. Когда затем план изменился и решено было печатать сначала ФП I, то естественно встал вопрос, не должно ли затем последовать ФП II. По словам Надеждина на допросе его, Чаадаев устранил печатание ФП II и решил печатать вслед за первым сразу ФП III. Оно было набрано и должно было войти в 47-ю книжку "Телескопа", корректура которого, как это указано во введении к настоящим примечаниям, дошла до нас. Остановило ли Чаадаева в сдаче в печать второго Письма очевидное несоответствие его советов корреспондентке с ее действительной судьбой, недопустимые с цензурной точки зрения выпады первой части Письма или некоторая слабость аргументации второй части, доводы которой повторяются в следующих Письмах, сказать трудно. Во всяком случае при издании

всей серии ФП мы помещаем его на том месте, где оно должно было находиться по первоначальному, не зависящему от цензурных соображений, плану.

[39] "Поглощена смерть победою". Эпиграф к письму взят из I послания апостола Павла к коринфянам — глава 15, стих 54. Там слова эти в свою очередь заимствованы из книги пророка Исайи - глава 25, стих 8.

[40] "Повиновение есть истинный долг души разумной, признающей небесного владыку и победителя". Цитата из 12 главы II книги "Опытов" Монтеня приводится у Чаадаева, как вообще принято во французской литературе, в правописании подлинника. Книга Монтеня с этой цитатой сохранилась в библиотеке Чаадаева (Каталог. Лб 486). Приведенное место, как впрочем и многие другие, подчеркнуто в книге Чаадаевым. Ф. А. Коган-Бернштейн перевела это место несколько иначе, чем Д. И. Шаховской: "повиновение есть главная обязанность разумной души, признающей верховного благодетеля" (Мишель Монтень. Опыты. М.; Л., 1960. Кн. 2. С. 185). — Ред.

[41] Не совсем ясно, какое значение придавал Чаадаев в своем сочинении термину "La philosophie naturelle". Подбор книг по философии природы в его библиотеке довольно случаен, хотя он и старается вникнуть в новейшие учения электричества, магнетизма и палеонтологии. Удивительно, что среди сохранившихся книг библиотеки нет главных сочинений Шеллинга, которых у Чаадаева не могло не быть. В пей имеются лишь два его сочинения по натурфилософии (Каталог. Лб 603 и 604), но по контексту под натурфилософией Чаадаев понимает не шеллингианство, а естествознание, постижение природы, мира физического (о чем и шла выше речь), противопоставленное постижению мира духовного.

[42] Слова "анализ" и "синтез" применяются здесь Чаадаевым в несколько своеобразном смысле: под анализом понимается наведение, индукция, под синтезом — дедукция. В "Апологии сумасшедшего" (АС. С. 530) синтез рассматривается в качестве отличительной черты восточного мировоззрения.

[43] Эту мысль о преемственности сознаний, составляющих в совокупности одно мировое сознание, автор развил более подробно в ФП V.

[44] Говоря о совершенном лишении себя своей свободы, автор не отрицает ее существования, но стремится понять ее в связи с необходимостью. Свобода человека признается им бесспорно за основной и величайший дар: дело идет лишь об устранении "свободы дикого осленка", т.е. о свободном слиянии отдельных сознаний с необходимостью, с жизнью мира.

[45] Конечно, здесь имеется в виду Платон. Та же мысль неоднократно встречается у Сенеки, сочинения которого Чаадаев усердно читал, как это видно на сохранившегося в его библиотеке экземпляра шеститомного издания сочинений этого писателя во французском переводе с многочисленными отметками и заметками рукой Чаадаева (Каталог. Лб 616). Чрезвычайно существенны для Чаадаева последние слова этого абзаца о том, что обретение вновь утраченного нами "прекрасного существования... всецело зависит от нас и не требует ухода из мира, который нас окружает". Таким образом, достижение совершенных общества и людских отношений произойдет, согласно и другим высказываниям Чаадаева, в пределах земной жизни и не требует ухода в потусторонность через смерть. Это важно для понимания смысла эпиграфа к письму, какой ему придавал Чаадаев.

[46] Взятый в скобки абзац в оригинале вычеркнут, как это указывает McNally (Р. 60 — 61). Vouleau (Р. 94) печатает без скобок.

[47] Чаадаев признает, как это встречается и в других местах его сочинений, непреложность общего закона жизни, с одной стороны, свободы человека — с

другой. Но он не указывает пути к согласованию этих начал и называет их сосуществование просто "длящимся чудом".

[48] Здесь как будто допускается существование врожденных идей в человеке, — мысль, которую Чаадаев отвергает в ФП V. Идеи эти, как видно из следующих за этой двух фраз, он считает внушенными богом.

[49] В варианте этого письма Жих.2 проставлена дата "1830".

[50] Чрезвычайно знаменательно, что эпиграфом и письму Чаадаев выбрал категорическое выражение подзаконности всякого действия. Это определяет общую твердую установку Чаадаева, которую он, впрочем, не всегда выдерживает. Что касается самого эпиграфа, то с ним сопряжено несколько недоразумений, которые, в конечном счете, все вполне благополучно разрешаются. Начать с того, что никакого сочинения Спинозы под заглавием "De anima" (О душе) не существует. Вторая часть "Этики", трактующая о душе, носит название "De Mente". В ней есть теорема 48-я, довольно близко соответствующая данному тексту, но на самом деле цитата взята из доказательства теоремы 32-й первой части "Этики" с купюрой, которую Чаадаев не обозначил. Н. А. Иванцов несколько иначе перевел с латинского оригинала это место в сочинении Спинозы: "Воля составляет только известный модус мышления... все равно, представляется ли воля конечной или бесконечной, всегда найдется причина, которая определила бы ее к существованию и действию, и потому (по определению 7) воля не может быть названа свободной причиной, но только необходимой или принужденной" (Спиноза Б. Избр. произв.: В 2-х т. М., 1957. Т. I. С. 389). Другой недоуменный вопрос. Откуда Чаадаев мог почерпнуть свое знание текста Спинозы? Французы, нередко на него ссылавшиеся, опубликовали первый перевод "Этики" в 1843 г. Книга эта была и в библиотеке Чаадаева (Каталог. Лб 625), но по времени своего издания она не могла служить источником для цитаты. Знакомство с библиотекой вполне удовлетворительно разрешает это недоумение. В библиотеке находятся еще два произведения Спинозы, оба на немецком языке (Каталог. Лб 626 и 627), составляющие два первые тома собрания его философских сочинений: в первом томе, изданном у Бекмана в Гере в 1787 г., есть трактат под заглавием: "Священное писание, еврейство, права высшей власти в духовных предметах и свобода мысли". Второй том, изданный у Беме в Лейпциге вторым изданием в 1796 г., содержит только две первые части (из пяти) трактата "Этика". Обе книги усердно читаны Чаадаевым, эпиграф из первой части "Этики" взят несомненно из этого экземпляра. Там данная теорема нарочито подчеркнута, соответствующая страница загнута пополам, как имел обыкновение это делать Чаадаев в исключительных случаях. Следовательно, он воспользовался переводом немецкого издания.

[51] Пифагорейцы — последователи древнегреческого философа Пифагора.

[52] Каббалисты — представители еврейской философской школы мистического характера.

[53] Чаадаев несколько раз возвращается к доказательству невозможности познать сущность души приемами, применимыми в точных науках: он беседовал об этом в ФП II и будет еще беседовать в ФП V.

[54] Ссылка эта очевидно имеет в виду то место в ФП IV, где автор усматривает ошибки сенсуалистов в невозможности для человеческого разума допустить причину своих действий внутри самого себя (см. примеч. 15).

[55] Слова "ход" и "содержание" выделены здесь мною, чтобы обратить внимание на два раздела в рассуждении Чаадаева, который их устанавливает, но недостаточно явственно разграничивает.

[56] В библиотеке Чаадаева имелось двухтомное издание сочинений Бэкона на французском языке (Р., 1798 — 1799). На обоих томах есть условные знаки (Каталог. Лб 106).

[57] В оставшихся от Чаадаева книгах ни одного сочинения Ньютона не найдено. Сохранился лишь трактат ученика его Кларка (Каталог. Лб 193), но, по-видимому, не от него заимствовал свои мысли Чаадаев.

[58] В отличие от Д. И. Шаховского, следующего при этом за переводчиком ФП IV, приготовившего текст для публикации в журнале "Телескоп" (см. примеч. 10 к ФП IV//ЛН. С. 70), мы переводим термин "Projection" как "отталкивание" вместо "вержение". Но ни то, ни другое решение нельзя считать абсолютным. Этот же термин Чаадаев употребляет и в ОРМ при характеристике силы, "которая некогда потрясла инертную материю и раскидала миры в пространстве" (Вопр. филос. 1968. Лб 1. С. 129; здесь ошибка публикатора: вместо слова "вержение" напечатано "вернее"). Таким образом, речь здесь идет о силе, которая "бросила материю в движение, т.е. о первотолчке, да и сам Чаадаев в сущности так ее и определил: 1impulsion initiale ou la Projection, что и переведено Д. И. Шаховским как "Начальный толчок или Вержение". С таким переводом, может быть, и можно было согласиться, пренебрегая неупотребительностью термина, если бы не то обстоятельство, что у Чаадаева эта сила не есть только первоначальная сверхъестественная акция и она осуществляет не только первый толчок. Весьма непоследовательно относительно креационизма Чаадаев тут же пишет: "Итак, вот две движущие силы природы: Тяготение и Вержение". А ранее, на этой же странице проводит рассуждение, согласно которому без силы, противостоящей тяготению, ""вся вещественность обратилась бы в одну бесформенную и инертную массу"; "с первого взгляда кажется, будто все силы природы сводятся к всемирному тяготению; а между тем эта сила природы отнюдь не единственная", и "всякое движение в природе (опять природы — Ред.) производится двумя силами, возбуждающими в движимом стремление в двух противоположных направлениях", причем все это касается не только Земли, но и "всего явственнее") "проявляется" ("в космическом движении" (ФП IV). Как видим, действие и значение этой силы выходит далеко за пределы только первоначального толчка и является для Чаадаева столь же постоянно действующей, столь же непрерывной природной силой, как и тяготение. Это две парные силы, неотрывные друг от друга, однопорядковые и отделимые только в абстракции. Очень важным аргументом в пользу столь широкого и рационального понимания силы отталкивания является и другое утверждение Чаадаева. Он говорит об "отчетливой идее совокупного действия этих двух сил как она нам дается наукой". Есть и еще один аргумент — традиция Канта

— Шеллинга и его русских последователей — современников Чаадаева — Д. М. Велланского, М. Г. Павлова, Н. И. Надеждина, которые тоже с помощью этой пары сил объясняют формирование и действие природы. Ту же традицию со ссылкой на Канта продолжает Гегель (Соч. М., 1930. Т. I. С. 168 — 169; ср. также, Т. II. С. 61) и — со ссылкой на Гегеля — Энгельс (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20, С. 559), причем Энгельс связывает эту силу (называя ее также "тангенциальной") с ньютоновской концепцией первоначального толчка (Там же. С. 349; 588) Вот почему и несмотря на то, что термин "projection" переводится иначе, чем "отталкивание", и, более того, — что для "отталкивания" во французском языке имеется другое слово - "reponsement", мы все-таки решили ввести в комментируемом месте термин "отталкивание" вместо "вержение" (Ред.).

[59] Вот именно то место, на которое Чаадаев ссылался в начале письма, обещая дать разъяснение поставленного там вопроса.

[60] "Principe occasionnel" — термин, употребляемый последователями Декарта, — окказионалистами Мальбраншем, Гейлинксом и др.

[61] Чаадаев снова выступает здесь защитником свободы воли.

[62] Здесь в оригинале Чаадаев употребляет "Je s'connais", очевидно передавая им знаменитое декартовское "cogito".

[63] Д. И. Шаховской перевел французское словосочетание "La raison commune" как "простой разум". Вряд ли этот перевод приемлем. Точное значение этого словосочетания — общий (или общественный) разум. Но поскольку Чаадаев употребляет его для характеристики шотландской школы и полемизируя с ней, то, по-видимому, речь здесь идет о центральном понятии этой школы — "здравом смысле", которое в шотландских первоисточниках, т.е. по-английски, обозначается как "common sense" (где sense столько же "разум", сколь и "чувство"), так что Чаадаев до известной степени калькирует английское выражение (Ред.). Впрочем трудно сказать, связывается ли сказанное здесь Чаадаевым с учением шотландской школы, о которой речь пойдет лишь и следующем абзаце, или же термин этот имеет общее значение.

[64] Шотландская школа — учение, развившееся в английской философии в 60 — 80-х годах XVIII в., было в большом ходу во Франции в начале XIX в. Чаадаев к учению этой школы вернется дважды в ФП V. Основателем школы был Т. Рид (1710 — 1796), шеститомное собрание сочинений которого находилось в библиотеке Чаадаева (Каталог. Лб 571), как и два собрания сочинений (см. Лб 634 и 635) другого представителя этой школы

— Д. Стюарта (1753 — 1828). [65] Слова из книги Иова: "Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку" (11, 12). В публикации ФП IV в ЛН (С. 44) эти слова приписаны Ионе, хотя во французском тексте Чаадаева написано "Job" (Иов). Ошибка ЛН повторена Б. Н. Тарасовым (Тарасов. С. 78), — Ред. [66] Бытие, 1, 26. [67] В предыдущих письмах Чаадаев рассмотрел главную тему этого отдела его сочинения с религиозной, философской и научной точек зрения. В ФП V он вводит свою систему в порядок философских исканий века. [68] Цитируется поэма Мильтона. Христос обращается к сатане, искушающему его и указывающему в поучение ему на рассуждающих об истине афинских мудрецов Сократа, Платона, стоиков и эпикурейцев: Увы, чему способны научить Все мудрецы подобные, когда Они самих себя не постигают, Понятия о боге не имея, О таинствах великих мироздания, О горестном падении человека, И меж собой толкуя о душе, Они о ней превратно рассуждают (Мильтон Д. Потерянный и возвращенный рай. СПб., 1899. С. 154). В английском издании сочинений Мильтона, сохранившемся в библиотеке Чаадаева (Каталог. Лб 482) и, очевидно, купленном им в Лондоне в 1823 г., означенный стих отмечен, впрочем, подобно многим другим. При чтении письма нельзя не вспомнить важного для понимания Чаадаева раннего сочинения Ламенне "Опыт о безразличии в делах религии" (Essais sur l'indifference ep matiere de religion. Houndin, 1819 — 1820) и составляющую органическую часть его книгу "В защиту опыта..." (Defence ep l'Essais sur l'indifference ep matiere de religion. Paris, Lyon, 1821). Две первые, самые важные, части (из четырех) первого сочинения, а также и второе, сохранились в библиотеке Чаадаева с многочисленными его пометками и несколькими записями, с отметками о чтении второго тома в ноябре 1829 г., т.е. именно в самый разгар работы над Письмами. Последняя отметка о чтении сделана 1 декабря 1820 г.; эта же дата стоит и под ФП I. Кроме того, в библиотеке, также с пометками Чаадаева, имелась и третья книга

Ламенне (*Reflection sur l'etat de l'eglise en France... P., 1819; Каталог. Ъ 410 — 412*). О записях Чаадаева на книгах Ламенне см.: Т. I. С. 585 — 587, 589, 593, 616 наст. издания. Не останавливаясь подробно на поучительных совпадениях и на различиях в мыслях Ламенне и Чаадаева, укажем только, что именно здесь живее всего можно наблюдать отношение Чаадаева к католической мысли. Чрезвычайно высокая оценка Чаадаевым Ламенне раннего периода хорошо известна из его прямых высказываний в АС и в письме Ъ 95 А. И. Тургеневу от 1838 г. В АС Ламенне не назван, но конечно его имеет в виду Чаадаев в начале статьи: "Великий писатель нашего времени" (АС. С. 524). В тексте, бывшем в руках у Чернышевского, под этой строкой есть вставка: Ламенне. [69] Мы исправляем здесь перевод Д. И. Шаховским "que" как "он", на "оно". По Шаховскому получается, что "логику причин и следствий" "создает" "факт", в то время как по смыслу "создает" должно быть отнесено на счет "объективного единства", или "великого ВСЕ". Равным образом в переводе этой же фразы Шаховским получается, что с пантеизмом не имеет ничего общего тот же "факт", в то время как по смыслу речь у Чаадаева идет о неправомерности пантеистического истолкования "ВСЕ". Важный комментарий к понятию "ВСЕ" и к пониманию пантеизма дает отрывок Ъ 58. — Ред. [70] Здесь в ход изложения врывается маленький трактат о бессмертии — вопрос, к которому Чаадаев впоследствии неоднократно возвращался. [71] *Petitio principii* — ошибка в доказательстве, состоящая в том, что для доказательства пользуются доводом, еще не доказанным. [72] Имеется в виду шотландская школа, а не философия Канта, как может показаться с первого взгляда. [73] Здесь начинается характеристика философии Шеллинга. Чаадаев указывает только одну заслугу этой философии: успешную борьбу с ложным направлением господствующей философии. Чаадаев не принимает шеллингианства и говорит, что пойдет "намеченной себе дорогой, более надежной", а позже, в 1832 г., напишет Шеллингу: "Мне часто доводилось приходить в конце концов не туда, куда приходили вы" (Письма. Ъ 59. Д. И. Шаховской считал, что это письмо относится к 1833 г. //ЛН. С. 72). Но из этого же письма видно, какое впечатление произвело на него ознакомление с сочинениями Шеллинга: "Изучение ваших произведений открыло мне целый мир". И надо сказать, что те понятия, о которых Чаадаев говорит в начале пятого ФП — абсолютное единство во всей совокупности существ, единство вещей, "великое ВСЕ" и вообще идея единства, являющаяся основой его убеждений, — укрепились в нем и сложились в определенную систему под существенным воздействием не только Спинозы, но и Шеллинга. Хотя в библиотеке Чаадаева сохранилось только несколько брошюр с ранними натурфилософскими сочинениями Шеллинга (Каталог. Ъ 603 и 604), но он свидетельствует в том же письме, что прочитал все сочинения знаменитого философа. Надо думать, что к Чаадаеву по прославленной близости его к Шеллингу обращались за книгами последнего, а затем книги эти не возвращались их владельцу. Чаадаев рассматривал философию Шеллинга также в ОРМ Ъ 167, 197. [74] В подлиннике (ошибочно) "трансцендентный". Основное сочинение молодого Шеллинга, давшее название его ранней философии, называлось "Система трансцендентального идеализма". [75] Слова "как мы убедились" имеют в виду рассуждения ФП IV. [76] Цитированное высказывание Паскаля, которым Чаадаев пользуется для выражения своей основной идеи, взято им из мало известного и дошедшего до нас не полностью "Предисловия к рассуждениям о пустоте" ("*Preface sur le trait du vide*"), т.е. трактата по физике, предположительно написанного в 1647 г. (см.: *Oeuvres de Blais Pascal publiees... par Leon Brunschvicq et Pierre Boutroux. 2-eme ed. P., 1923. V. II. P. 127 - 145*). В оригинале это место дословно читается так: "De sortie que toute la suite des hommes pendant le

cours de tant de siecles doit estre consideree comme ип mesme homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement". В комментарии к этому месту указывается, что подобное же соображение приводили до Паскаля Р. Бэкон в первой части "Opus majus" и Ф. Бэкон в "Novum Organum", кн. I, 84 и De augmentis, 11. Чаадаев едва ли заимствовал это изречение непосредственно у Паскаля; вероятно, он встретил его у какого-либо другого автора. Как указал в своей книге Ш. Кенэ (см.: Quenet), это изречение стоит в общем эпиграфе ко всей книге Шарпантье "Опыт истории средневековой литературы", вышедшей в Париже в 1833 г. Интересно, как это также напоминает Кенэ (Quenet. P. 176), по словам Надеждина, в его показании, Чаадаев советовал последнему между прочим поместить в своем журнале выдержки из этой книги. Самую книгу Чаадаев, вероятно, получил от А. И. Тургенева, так как последний пишет о ней Вяземскому 1 сентября 1833 г. и сообщает при этом о своем намерении "отправить книгу московскому философу" ("Переписка А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземскому. Пг., 1921. Т. 1. С. 310; место это также указано у Кенэ). Книги Шарпантье в библиотеке Чаадаева не оказалось. Но это еще не значит, что ее там не было, тем более что она вполне могла остаться у Надеждина. Конечно, предположить заимствование у Шарпантье было бы хорошим решением вопроса. Однако предположение это приходится отбросить из-за хронологических соображений. Книга Шарпантье вышла в свет в 1833 г., а ФП V было написано несомненно раньше. Ведь на это место Чаадаев ссылается в ФП VII, которое было в руках Пушкина еще в июне 1831 г. Кенэ совершенно справедливо указывает на возможность позднейшей вставки в написанный ранее текст. Мы знаем по примеру ФП I, значительно исправленного Чаадаевым в 1835 г., а также и по примеру ФП III, VI и VII, сохранившихся в двух редакциях, о тщательной его работе над текстом своего сочинения и много позднее их написания, вероятно до злополучного октября 1836 г., когда он навсегда лишился, по собственному его выражению в письме брату, "трудов всей моей жизни..." (Письма. Лб 89). Но в данном случае позднейшая вставка совершенно невозможна. Не говоря уже о том, что изречение, заимствованное у Паскаля, органично вросло в изложение теории Чаадаева, как бы заменяя его собственную формулировку, почему оно приводится у него в самых центральных пунктах двух разветвлений его рассуждения — общефилософском (в ФП V) и историческом (в ФП VII) — со ссылкой в ФП VII на ФП V. С большими натяжками это соображение все же можно было бы устранить. Но неустранимо другое: изречение Паскаля имеется в том экземпляре ФП VII, которое находилось в московской цензуре в ноябре 1832 г., а независимо от точной даты выхода книги Шарпантье (год выхода указан в ней 1833) Тургенев мог послать ее Чаадаеву лишь после 1 сентября 1833 г. Таким образом, источник заимствования цитаты Чаадаевым был другой. Одна из книг, сохранившихся в библиотеке Чаадаева (Каталог. Лб 579), по-видимому, удовлетворительно решает этот вопрос. Это книга A.F.Rio "Essais sur l'histoire de l'esprit humain dans l'antiquite" (P., 1829. V. 4), в которой настоящее изречение Паскаля фигурирует в качестве эпиграфа, как и в книге Шарпантье (Каталог. Лб 579).

[77] Говоря о слове как "главном средстве формирования душ" и сознаний, Чаадаев, вероятно, имеет в виду известную теорию Бональда, но тут же ставит вопрос гораздо шире, так что предполагать заимствование в данном случае оснований нет. Нет никаких данных для предположения об основательном непосредственном знакомстве Чаадаева с сочинениями Бональда, хотя теория его Чаадаеву была известна; например из книги Дамирона "Очерк истории философии XIX века во Франции", вышедшей в 1828 г. Еще о окончании работы над Письмами Чаадаев читал книгу Дамирона, как это видно из его заметок на сохранившемся экземпляре



книги в его библиотеке (Каталог. ЛЬ 212), сделанных характерным для этого времени почерком владельца. [78] Слова Цицерона взяты из его сочинения "О законах" (кн. I, ЛЬ 26 и 27), впрочем, в значительно измененном виде (см. Цицерон. Диалоги. М., 1966. С. 97). [79] Рассуждение о детях, находимых среди лесных зверей, повидимому, заимствовано Чаадаевым у Ламенне ("Опыт о безразличии", ч. II, гл. XVI). [80] Вероятно, здесь и далее речь идет о сенсуализме вообще, хотя излагается это учение весьма произвольно. Еще менее удачно сформулировал ниже Чаадаев основной принцип философии Декарта и рационализма XVII в. — *cogito ergo sum*, который обычно переводится как "мыслю, следовательно существую". Чаадаев же замещает слово "мыслю" словом "ощущать", "чувствовать" (*sens*), чем вносит в рационализм сенсуалистическую струю (Ред.).

[81] Здесь Чаадаев, наконец, подходит к Канту. О Канте он, конечно, знал еще со времени своего студенчества и по курсу проф. Буле, записанному его братом Михаилом (ныне хранится в ЦГАЛИ), в котором Буле осудительно говорил о "Критике чистого разума". Из отрывка письма Чаадаева к Облеухову от 1812 г. (Письма. ЛЬ 3) видно, что первый по поручению друга разыскивает в книжных лавках Петербурга сочинения Канта. Но лучшим показателем его занятий Кантом служат сохранившиеся в его библиотеке экземпляры двух Критик — чистого и практического разума в издании 1818 г. (Каталог. ЛЬ 378 — 379), обе на языке оригинала. "Критика чистого разума" на французском языке, изданная в Париже в 1835 — 1836 гг. (Там же. ЛЬ 380), была приобретена им позже написания этого письма. Судя по отметкам, Чаадаев прочитал лишь первые ее страницы. Немецкие книги, как это надписано на них, приобретены в Дрездене в 1826 г. Они испещрены отметками, но далеко не на всем протяжении и притом "Критика практического разума" гораздо более усердно, чем другая. Общее заключение Чаадаева о впечатлении, произведенном на него этими книгами, видно из надписей, сделанных им на титульном листе "Критики чистого разума". На "Kritik der reinen Vernunft" он надписал: "Apologete", зачеркнул "der reinen" и поставил вместо них "adamitischer", так что получилось измененное заглавие, говорящее о том, что он считает книгу Канта защитой испорченного грехом, ограниченного и неподвижного (адамова) разума. Книгу он читал, по-видимому, дважды, так как отметки сделаны простым и красным карандашами. На обороте титульного листа "Критики практического разума" Чаадаев чрезвычайно четко, еще ранним (до 1831 г.) своим почерком написал: "Er war nicht das Licht, sondern das er zeugte von dem Lichte". Это известное изречение из евангелия от Иоанна об Иоанне-крестителе, как предшественнике Христа, приготавливавшем пути его: "Он не был светом, но он свидетельствовал о свете" ("Заметки на книгах". ЛЬ 136). [82] В самом критическом месте своего изложения недостатков философии Канта, вскрывающем и собственное понимание разума, постоянно развивающегося и постигаемого лишь в свете вечного устремления к совершенству, Чаадаев допустил при переписке непростительную ошибку, пропустив слово *que*, вследствие чего получился смысл, обратный мысли Чаадаева. Впрочем, ошибка эта столь очевидна, что поправка не вызывает никаких сомнений. [83] Под "философией всемогущества человеческого Я" подразумевается, конечно, учение Фихте. Пять его книг уцелело в библиотеке Чаадаева (Каталог. ЛЬ 266 — 270; подробнее о них см. в примеч. к ОРМ. ЛЬ 161а); на одной из них остались следы недовольства его гордыней — *Arogantia*, на всех — пометки. Однако позднее, как это видно из ОРМ, Чаадаев воспринял учение Фихте более глубоко и относился к нему справедливее. Весьма существенно отметить, что в обзоре истории новой философии данном в ФП VI, совсем не нашла себе места философия Гегеля, хотя по времени написания трактата Чаадаев мог бы ее знать.

Ведь "Феноменологии духа" увидела свет еще в 1807 г., первое издание "Энциклопедии философских наук" — в 1817 г., с 1818 г. Гегель занимал кафедру философии в Берлине. По-видимому, в то время Чаадаев попросту не знал философии Гегеля. Позднее он с ней познакомил но в его библиотеке сохранилось только изложение философии Гегеля Вильмом на французском языке, изданное в 1835 г., с отметками и "Энциклопедия" без всяких отметок (Каталог. Лб 327). Как известно, книгу Вильма в свое время начал переводить Станкевич (часть работы Вильма в переводе Станкевича была напечатана в "Телескопе" и включена в кн.: Станкевич Н. В. Стихотворения. Трагедия. Проза. М., 1899). С философией Гегеля Чаадаев ознакомился позже и высоко оценил ее в ОРМ. [84] Последние слова письма обещают дать рассмотрение тех же вопросов в историческом аспекте. Обещание это Чаадаев выполнил, впрочем в несколько ограниченных пределах, в ФП VI и ФП VII.

[85] Как указано во введении к примечаниям, в оригинале этого Письма, приготовленном для издания, имелся заголовок, соответствующий намерению автора издать это и следующее (седьмое) Письма в виде отдельной брошюры под названием: "Два письма об истории, адресованные даме". После эпитафии сделана надпись: "Напечатано в Москве у А. Семена 1832" и подзаголовок "Письмо первое". Мы не воспроизводим, как это делает в своей публикации Р. Мак-Налли, этих надписей, поскольку печатаем все восемь ФП в качестве единого сочинения. [86] Voltaire, F. M. A. Essai sur les moeurs et l'esprit des nations. Chapitre CXCVII. [87] Д. И. Шаховской крайне неудачно перевел это место. Слово "matiere" он перевел как "содержание", что совершенно не учитывает контекста рассуждения Чаадаева, противопоставляющего фактологический — размышляющему, "рациональному" "приемам" изучения истории. Да и непосредственно такой перевод вводит читателя в недоумение как можно "исчерпать" "содержание" истории? Мы постарались учесть настоящий контекст в другом переводе этого места (Ред.) . [88] Здесь Чаадаев имеет в виду средневековье.

[89] Стагирит — Аристотель, родившийся в городе Стагира. [90] Реформация — широкое антифеодальное движение, возникшее в XVI в. в Западной и Центральной Европе и принявшее религиозную форму антикатолического протестантизма.

[91] Речь идет о книге Вольтера: Voltaire, F.M.A. Remarques pour servir de supplement a l'Essai sur les moeurs et l'esprit des nations. P., 1828. P. 316. [92] Иудаизм — религия евреев, возникшая в I тыс. до н.э. и к VII в. до н.э. ставшая монотеистической. [93] Пелазги (пеласги) — догреческое население Древней Греции. [94] Столбы (столпы) Геркулеса (Геракла) — две скалы на противоположных сторонах Гибралтарского пролива, поставленные, по преданию, Гераклом во время его путешествия. [95] Евангелие от Матфея, 6, 33. В оригинале текста, переведенного Шаховским нет слов, заключенных в скобки. Полный текст содержится в варианте этого Письма, напечатанного Гагариным и напечатанного Гершензоном (СП I. С. 133; пер. СП II. С. 146) и Тарасовым (Тарасов. С. 106). В этом месте вообще имеются разночтения оригиналов, с которыми работали Шаховской и Гагарин. В современном русском издании Нового Завета этот текст напечатан так: "Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам". Как видим, ни в тексте Чаадаева, ни в современном тексте нет слова "остальное". [96] По мнению Б. Н. Тарасова (Тарасов. С. 333, примеч. 20), речь здесь идет о французской романтической историографии (Балланш, Гизо, Тьерри, Тьер и др.). В библиотеке Чаадаева имелись сочинения Балланша (Каталог. Лб 107 — 110), Гизо (Лб 311 — 314), Минье (Лб 480), Тьерри (Лб 649 — 650) и Тьера (Лб 651), все с многочисленными пометками владельца. [97] Текст в квадратных скобках и примечание к нему в оригинале вычеркнуты, но он

воспроизводится у McNally и — с существенными разночтениями — у Гагарина — Гершензона - Тарасова. [98] Собор св. Петра в Риме строился около полутора столетий. [99] Индульгенция (от лат. *indulgentia* — снисходительность, милость) — отпущение грехов, даваемое католической церковью; с XII в. продавалась за деньги. [100] Имеется в виду таинство Евхаристии, которое оспаривали деятели Реформации Лютер, Кальвин и др. [101] Евангелие от Иоанна, 17, 11. [102] Текст в квадратных скобках из рукописи вычеркнут, но воспроизводится McNally и Rouleau. В текстах Гагарина - Гершензона — Тарасова его нет. [103] В оригинале к этому Письму имеется подзаголовок: "Письмо второе" (см. примеч. 1 к ФП VI). [104] Текст в квадратных скобках из рукописи вычеркнут, но воспроизведен у McNally и Rouleau с этой оговоркой; без нее — в изданиях Гагарина-Гершензона — Тарасова. [105] Имеется в виду Отечественная война 1812 г., приведшая Чаадаева в 1814 г. в Париж. [106] Имеется в виду заграничное путешествие Чаадаева (1823 - 1826), когда он в 1825 г., побывал в Италии. [107] Второзаконие — название пятой книги Моисеевой в Ветхом Завете. [108] Имеются в виду "Защита Сократа на суде" ("Апология Сократа") и "Воспоминания о Сократе" ("Меморабии") // Ксенофонт. Сократические сочинения. М., 1935 (см. также: Ксенофонт. Соч. В 5 — и вып. Воспоминания о Сократе. Митава, 1879. Вып. 2). [109] Имеется в виду книга Марка Аврелия "Размышления". М., 1985. [110] В августе 178 г. Марк Аврелий подверг кровавым гонениям христиан г. Лиона, бывшего в то время административным центром римской провинции Лугдунская Галлия. [111] Речь идет о сыне Марка Аврелия, императоре Коммодe, терроризировавшем римский Сенат и убитом придворными заговорщиками. [112] Трудно определить, какое высказывание Бэкона имел в виду Чаадаев, тем более что Ф. Бэкон вовсе не считал Демокрита "единственным". Но у Бэкона есть высказывания о том, что Демокрит "яснее всех других" утверждал вечность материи и отрицал "вечность нашего мира" (Бэкон Ф. О мудрости древних. Соч.: В 2-х т. М., 1972. Т. 2. С. 255). Иногда этот приоритет он отдавал не самому Демокриту, а его школе, "которая глубже, чем другие, проникала в природу" (Афоризмы об истолковании природы... // Там же. С. 23). Но чаще всего Бэкон отдавал предпочтение группе античных философов, которых он обычно противопоставлял Платону и Аристотелю как спекулятивным, умозрительным мыслителям (см., например: Там же. С. 29, 37 и др.). [113] См. сноску 116. [114] Платоники — сторонники платонизма, последователи Платона в 4 в. до н.э. — 3 в. н.э, т.е. до возникновения неоплатонизма. Впрочем, не исключено, что Чаадаев имеет здесь в виду и неоплатонизм, который просуществовал до 6 в. н.э. В широком смысле идеи платонизма и неоплатонизма никогда не иссякали и существуют в Западной философии до сих пор (ср. примеч. 17). [115] Т.е. мораль школы стоицизма, которая получила свое название по наименованию помещения, в котором собирались ее члены. Стоей называлась в античности галерея перед каким-либо зданием, обычно с колоннами; она же называлась и Портиком, если была сравнительно короткой. Стоики сторонники учения стоицизма, школы древнегреческой и древнеримской философии, основанной Зеноном из Китиона (336 — 264 до н.э.) и просуществовавшей до первых веков н.э, когда стоицизм слился с неоплатонизмом. [116] Академия — название школы Платона, происходящее от имени мифического героя Академа, в честь которого была названа местность вблизи Афин, где и собиралась школа (ср. сноску. 114). [117] Самофракия (или Самотракия) — остров в Эгейском море, на котором с древнейших времен (раскопки обнаружили алтарь 2-го тыс. до н.э.)

проводились празднества — мистерии в честь кабиров — богов Земли, плодородия, покровителей мореплавания. [118] Тифон — в древнегреческой мифологии стоголавое огнедышащее чудовище, которое победил Зевс. [119] Ариман — греческое название древнеиранского божества Анхра-Майнью, начала зла, главы злых божеств. [120] Сатурналии — ежегодные праздники в Древнем Риме в честь бога Сатурна, сопровождавшиеся карнавалами и видимостью уравнивания богатых и бедных, которым выдавали деньги и т.п. У Чаадаева — синоним хаоса, беспорядка, нарушения норм взаимоотношения людей. [121] В варианте ФП VII, напечатанном Гершензоном (СП II. С. 171 — 172) и перепечатанном в издании: Тарасов (С. 127 — 128), здесь следовало примечание, отсутствующее в оригинале, с которого сделан публикуемый перевод ФП VII: "Отдавая эти письма в печать, нам следовало бы, может быть, просить читателя о снисхождении и слабости и даже неправильности слога. Излагая свои мысли на чужом языке и не имея никаких литературных притязаний, мы, конечно, вполне сознавали, чего нам недостает в этом отношении. Но мы полагали, во-первых, что в нынешнее время сведущий читатель не придает уже форме, как прежде, большего значения, чем она заслуживает, и готов немного потрудиться, чтобы извлечь мысль, если она кажется ему стоящей того, из-под спуда самого несовершенного изложения. Затем мы полагали, что в наше время цивилизация более чем когда-либо требует распространения идей в какой бы то ни было форме, и что бывают такие случаи, такие социальные условия, когда человек, полагающий, что он имеет сообщить человечеству нечто важное, лишен выбора: ему ничего другого не остается, как говорить на общераспространенном языке, хотя бы он владел лишь смешным, искаженным наречием его. Наконец, мы полагали, что литературная держава слишком благородна в настоящее время, чтобы предписывать всем своим подданным всяких местностей и широт официальный язык своего академического трибунала, и что дорожа лишь тем, чтобы высказываемое было правдою, она не обращает особенного внимания на то, хорошо или дурно эта правда высказана. Вот на что мы рассчитывали". [122] Чаадаев здесь выразился крайне неудачно даже по отношению к своей собственной терминологии, употребляемой в том же контексте в предыдущих Письмах. Он хочет противопоставить "обособленному", оторванному от других людей и от общества человеческому существу, его индивидуальному сознанию (*personnelle conscience*), другое, связанное с обществом и находящееся с ним в единстве. И в этом случае он обращается к термину "*generale conscience*" (общее сознание), и даже "социальное", или "безличное" "существование" (см. ПФ VII). Вот почему употребление в комментируемом месте термина "существо... отвлеченное разумное" (*humain intelligent abstract*) там, где речь должна была бы идти об "общем сознании" и "социальном существовании", представляется несообразным ни с ранее использованной терминологией, ни с самим смыслом излагаемого противопоставления (Ред.).

[123] Имеются в виду реформация, протестантизм.

[124] Текст, заключенный в прямые скобки и расположенный во франц. оригинале в сноске, мы перенесли на несомненно принадлежащее ему место. Здесь эти строки вполне уместны, между тем как поставленные в конце Письма, они положительно ни с чем не вяжутся.

[125] Евхаристия — в христианской религии таинство причащения, т.е. приобщение (посредством хлеба и вина) к Христу, освобождающее от грехов (ср. сноску 100). В этой фразе в первой публикации ФП VIII (см. ЛН. С. 60) допущена ошибка: вместо "дух" (в оригинале — *l'esprit*) напечатано "род". В издании Б. Н. Тарасова (С. 131) ошибка повторена.

\* Печатается по: П. Я. ЧААДАЕВ. ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА (Полное собрание сочинений и избранные письма. Том 1) Москва, изд-во "Наука", 1991

---

[1] Фотий. В интерпретации Чаадаева инициатива разрыва Восточной церкви с Западной принадлежит Фотию, что не совсем верно. Эта инициатива исходила от Рима, Фотий же стремился к установлению равного положения обеих церквей. Окончательный разрыв произошел при патриархе Михаиле Кируларии на Соборе 1054 г. В данном случае Чаадаев следовал традиционной католической версии о деятельности Фотия как первопричины "схизмы" (разделения).

[2] 1829.

[3] Почему древние не умели наблюдать? Потому что они не были христианами.

[4] *Novum Organum* (ch. 68). "Новый Органон" — сочинение Ф. Бэкона. Цитата из Нового Органона в современном переводе звучит так: "пусть вход в царство человека, основанное на науках, будет почти таким же, как вход в царство небесное... куда никому не дано войти, не уподобившись детям" (Бэкон Ф. Соч. М., 1972. Т. 2. С. 34). — Ред.

[5] Здесь надлежит заметить две вещи: во-первых, что мы не имели в виду утверждать, будто в этой жизни содержится все Небо целиком: оно в этой жизни лишь начинается, ибо смерть более не существует с того дня, как она была побеждена спасителем; и, во-вторых, что здесь, конечно, говорится не о слиянии вещественном во времени и в пространстве, а лишь о слиянии в идее и в принципе.

[6] См. древних.

[7] В таком случае уже не вера двигала бы горы, а Алгебра.

[8] Спиноза.

[9] Без сомнения, применения открытого Ньютоном закона в области предметов осязаемых чрезвычайны, и число их будет с каждым днем еще возрастать. Но не следует забывать, что закон падения тяжестей установлен Галилеем, закон движения планет

— Кеплером. Ньютону принадлежит только счастливое вдохновение — связать воедино оба эти закона. Впрочем, все относящееся к этому славному открытию чрезвычайно важно. Не мудрено, что один выдающийся геометр сожалел, что нам неизвестны некоторые из формул, которыми Ньютон пользовался при своей работе; наука, конечно, много бы выиграла от находки этих талисманов гения. Но можно ли серьезно думать, что вся сверхъестественность гениальности Ньютона, вся его мощь, заключается в одних его математических приемах? Разве мы не знаем, что в этом возвышенном уме было еще что-то кроме способности к вычислениям? Я Вас спрашиваю, рождалась ли когда-либо мысль подобного масштаба в разуме безбожном? (Довольно странная попытка связать великое открытие Ньютоном законов движения с каким-то внутренним озарением, навеянным изучением Апокалипсиса, имеет весьма слабое обоснование в том, что он действительно им интересовался.). Истина столь величественная дана ли была когда-либо миру разумом неверующим? И можно ли представить себе, будто в то время, когда Ньютон бежал от опустошавшей Лондон эпидемии в Кембридж

(Бегство Ньютона от чумы — исторический факт, но бежал он вовсе не из Лондона и вовсе не в Кембридж, а именно из Кембриджа, где был преподавателем, к себе на родину, в Вулсторп) и закон вещественности блеснул его духу и разодралась завеса, скрывавшая природу, в благочестивой душе его были одни только цифры? Странное дело, есть еще люди, которые не могут подавить в себе улыбки жалости при мысли о Ньюtone, комментирующем Апокалипсис. (Апокалипсис (от греч. *apokaluziz* — откровение) — книга Нового Завета, Откровение апостола Иоанна Богослова). Не понимают, что великие открытия, составляющие гордость всего человеческого рода, могли быть сделаны только тем самым Ньютоном, каким он был, гением столь же покорным, сколь и всемогущим, а отнюдь не тем высокомерным человеком, каким его хотят представить. Повторю еще раз: видано ли, чтобы человек, не говоря уж атеист, но хотя бы только равнодушный к религии, раздвинул, как он, границы науки за пределы, ей, казалось, предназначенные. (Откуда почерпнул Чаадаев свои сведения о Ньюtone и свои понятия о теории движения и законе тяготения, выяснить не удалось. Как известно, о Ньюtone писал Вольтер, конечно, хорошо знакомый Чаадаеву. Вольтер и сообщил предание о падении яблока, будто бы вызвавшем у Ньютона ряд представлений, завершившихся затем его знаменитой теорией. Но и факты и соображения, приведенные у Чаадаева, не основаны на высказываниях Вольтера).

**[10]** Известно, что знаменитое доказательство бытия Божьего, приписываемое Декарту, принадлежит Ансельму, носившему в XI в. Доказательство оставалось погребенным в каком-то уголке человеческого разума в течение почти 500 лет, пока не явился Декарт и не вручил его философии.

**[11]** Нет надобности пытаться определить географически то место земли, где этот светоч находился; достоверно одно: традиции всех народов мира совпадают в указании одной и той же местности земного шара, из которой пришли к нам первые познания людей.

**[12]** Шлейермахер, Шеллинг, Кузен и т.д. и т.д.

**[13]** Так, между прочим, люди перестанут искать, как это делали прежде, великий Вавилон (Вавилон — древний город на берегу реки Евфрат, близ современного г. Хилла в Ираке. Основанный и 3-м тыс. до н.э., неоднократно подвергался разрушению и сейчас существует в виде развалин. О Вавилоне рассказывает Библия (Бытие, 11).) в том или другом земном государстве, а ощутят себя живущими среди треска его крушений; таким образом, поймут, что возвышенный историк грядущих веков, рассказавший нам его ужасное падение, думал не о крушении одного определенного царства, а материального сообщества вообще, такого общества, какое мы видим.

**[14]** Александр, Селевкиды (Селевкиды — династия, основанная Селевком I Никатором в 312 г. до н.э. в западной Азии (в нее входили Сирия, Месопотамия, часть Ирана и Ср. Азии)) Марк Аврелий, Юлиан, Лагиды и (Лагиды — династия, правившая в Египте в 305 — 330 гг. до н.э.) т.д.

**[15]** Может быть, здесь применяется к коллективному разуму народов тот закон, действие которого мы ежедневно наблюдаем на отдельной личности, а именно, что разум, который по какой бы то ни было причине ничего не почерпнул из массы распространенных во всем человеческом роде идей и таким образом не подчинил себя действию общего закона, а оказался обособленным от человеческой семьи и совершенно замкнулся в себе самом, неизбежно приходит в тем больший упадок, чем менее подчиненной была его собственная деятельность. В самом деле, был ли когда-либо народ доведен до такого состояния унижения, чтобы стать добычей не

другого народа, но нескольких торговцев, в свою очередь подданных в собственной стране, а между тем неограниченных владык среди подчиненной нации? Сверх того, помимо неслыханного падения индусов, последовавшего за их завоеванием, умирание индусского общества относится к более раннему времени. Их литература и философия и даже самый язык, на котором все это изложено, принадлежит к порядку вещей, уже давно исчезнувшему.

[16] Когда говорят о цивилизованной нации, что она пребывает в неподвижности, необходимо прибавить, с какого именно времени; иначе из этого факта ничего нельзя вывести.

[17] С тех пор, как написано это письмо, г-н Гизо в значительной мере оправдал нашу надежду. (По мнению Б. Н. Тарасова (Тарасов. С. 333, примеч. 21), имеется в виду книга Гизо (Guisot F. Cours d'histoire moderne: Histoire generale de la civilisation ep Еигоре. Р., 1828; у Тарасова ошибочно — 1928). Но вряд ли это так, ибо у Чаадаева речь идет о книге, появившейся после написания ФП VI, а оно не могло быть написано ранее конца 1828 — начала 1829 г. (ФП I датировано даже декабром 1829, что, впрочем, не является датой написания первого варианта — см. примеч. 23 к ФП I). Скорее, примечание Чаадаева относится к следующей книге Гизо (Cours d'histoire moderne: Histoire de la civilisation ep France), вышедшей годом позже (1829) предыдущей. Обе книги имелись в библиотеке Чаадаева (ср. примеч. 24 и 34 к ОРМ). Г. В. Макаровская в статье: "Философические письма" Чаадаева в оценке Пушкина // Освободительное движение в России. Саратов, 1986. Вып. II.)

[18] Смотрите второе письмо.

[19] Нельзя упрекнуть ни Геродота, ни Тита Ливия, ни Григория Турского в том, что они не заставили вмешиваться провидение в ход человеческих дел, но едва ли стоит говорить, что не к восстановлению суеверной идеи повседневного вмешательства Бога мы призываем человеческий ум. (Это (и следующее) примечание зачеркнуто в оригинале, но воспроизведено во всех изданиях: Гагарина — Гершензона — McNally — Rouleau — Тарасова. С переводом этого примечания связано одно недоразумение, имеющее, впрочем, существенное значение для понимания мысли Чаадаева. Перевод Д. И. Шаховского точно соответствует французскому тексту Чаадаева, в то время как перевод М. Гершензона ему не соответствует. Но приходится признать, что перевод Гершензона точнее выражает смысл отрывка, так что можно предположить, что Чаадаев допустил здесь опisku. У Чаадаева сказано и Д. И. Шаховской так это и перевел: "идеи суеверного повседневного вмешательства Бога". Но выражение "суеверное вмешательство" в данном случае не имеет смысла, и Гершензон, совершенно резонно исправляя Чаадаева, переводит: "суеверная идея повседневного вмешательства Бога" (СП II. С. 155, примеч. X). Мы принимаем поправку Гершензона).

[20] В этом самом Риме, о котором столько толкуют, осматривать который все ездят и который так мало понимают, имеется удивительный памятник, о котором можно сказать, что это древнее произведение, продолжающее жить и поныне, деяние другого века, остановившееся среди течения времени: это Колизей. На мой взгляд, нет исторического явления, которое пробуждало бы столько глубоких мыслей, как вид этой развалины, которое бы лучше выявляло характерные черты двух эпох человечества и которое бы убедительнее свидетельствовало о великой аксиоме истории; что никогда не было бы ни настоящего прогресса, ни настоящей устойчивости в обществе до эпохи христианства. Эта арена, куда римский народ толпами приходил упиваться кровью, где весь мир язычества так верно отражался в ужасающей игре, где вся жизнь того времени развевывалась в своих живейших

наслаждениях, в своих самых блестящих торжествах, — разве она действительно не возвышается здесь перед нами, чтобы показать, к чему пришел мир в такое время, когда все имеющиеся в человеческой природе силы были пущены в дело сооружения социального здания, а между тем крушение его возвещалось со всех сторон и должна была наступить новая полоса варварства? И таи же впервые пролилась кровь, оросившая основание нового здания. Не стоит ли этот памятник целой книги? И удивительно, что он никогда не возбуждал исторической мысли, заключающей в себе эти великие истины! Между толп путешественников, стекающих в Рим, нашелся, впрочем, один, который при взгляде на памятник с соседней и также знаменитой высоты, с которой он мог наблюдать памятник в его поразительном обрамлении, по его же словам вообразил себе, что он воочию видит как разворачиваются перед его глазами века, объясняющие ему загадку своего движения. И что же? Этот человек заметил там только шествия триумфаторов и капуцинов.) Как будто там ничего не происходило помимо триумфов и процессий. Мелкая и жалкая идея, которая принесла нам лживое произведение, столь известное всем: настоящее поругание со стороны одного из самых великолепных человеческих гениев, какие когда-либо были! (Имеется в виду английский историк XVIII в. Э. Гиббон).

[21] Заметьте, что в сущности, библейские персонажи должны бы быть нам особенно знакомы, так как черты их там лучше всего обрисованы. В этом одна из самых сильных сторон Священного Писания. Надо было добиться, чтобы путем нашего отождествления с ними библейские личности непосредственно влияли на наше внутреннее чувство, и этим приготовить души подчиниться влиянию еще более необходимому со стороны Христа: Библия и нашла способ так хорошо обрисовывать черты этих лиц, что образы их, внедряясь в сознание, производят на нас впечатление людей, с которыми мы живем в тесном общении.

[22] Если бы я написал не к женщине, я бы особенно рекомендовал читателю, чтобы составить о том понятие, прочитав "Пир" Платона.

[23] Впрочем, нет ничего понятнее огромной славы Сократа единственного умершего из-за убеждений человека, смерть которого древний мир мог наблюдать. Этот единственный пример героизма убеждений должен был действительно поразить эти народы. Но не безумие ли так ошибаться по отношению к нему нам, видевшим, как целые народы жертвовали жизнью ради истины.

[24] Пифагор не составляет в этом отношении исключения. Он личность баснословная, и ему приписывалось все, что угодно.

[25] Вначале у магометан не было никакого враждебного чувства к христианам; только в результате продолжительных войн между ними и христианами у них возникла ненависть и презрение к последним. Что касается христиан, то совершенно естественно, что они должны были смотреть на магометан как на язычников, позднее как на врагов своей веры; а те затем ими и стали.

[26] Если пожелать составить себе понятие о нравственном влиянии Гомера в мире, следует только прочесть сочинение Плутарха (По-видимому, Чаадаев имеет в виду сочинение Плутарха "О жизни и поэзии Гомера" в 2-х книгах (De vita et poesi Homeri, lib. I — II //Plutarchi Chaeronsis moralia/recensuit G. Bernardkis. Lipsiae, 1896. Vol. VII). Много сведений о Гомере и его поэзии содержится также и в трактате "Как юноше слушать поэтические произведения" (Quomodo adolescens poetas audire debeat. Lipsiae, 1888. Vol. I) того же издания.) или главу Максима Тирского, к нему относящиеся (Гомеру посвящены три речи Максима Тирского в его сочинении "Maxime Turii Philosophumena/H. Hobein. Lipsiae, 1910. XVII, XXII, XXVI.). Затем в книге Геерена (Греции посвящена 2-я часть 3-го тома книги Геерена: Heeren A.H.L.



Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten, Welt, 3-е издание которой (Göttingen, 1821) имелось в библиотеке Чаадаева (Каталог. Лб 325). На полях книги есть его пометки (см.: о них: Гречанинова В. С. Библиотека П. Я. Чаадаева. Федоровские чтения. М., 1976), в том числе на с. 83 и сл., где идет речь о Гомере и его воздействии на формирование "моральной сущности" греков. Ср. о Геерене примеч. 26.) главы, в которых говорится о цивилизации греков, а в особенности все, что касается этого предмета, в отличном труде Крейцера о религиях древности. (Creuzer G.F. Symbolik und Mythologie der altern Völker. Lpz.; Darmstadt, 1810 — 1812. Bd. 1 — 3.).

[27] Действие поэзии Гомера естественно сливается с действием греческого искусства, потому что она типичная представительница этого искусства, т.е. последнее создано поэзией Гомера, а греческое искусство продолжало ее действие. Впрочем, существовал ли такой человек, как Гомер, или нет знать это не важно; историческая критика никогда не сможет вычеркнуть из жизни память о Гомере философа должна занимать идея, которая связана с памятью о ней, а не сама личность поэта,

[28] Настоящим счастьем нашего времени является новая область, не загрязненная гомеризмом, которая недавно открылась для исторического размышления. Влияние идей Индии уже проявляется с большой пользой в развитии философии. Дал бы Бог, чтобы мы пришли как можно скорее этим окружным путем к той точке, куда нас не смогла до сих пор привести более прямая дорога. (Об интересе Чаадаева к Индии свидетельствует наличие в его библиотеке указанной в примеч. 23 книги Геерена, во 2-й части 1-го т. которой имеется специальный раздел об Индии. На полях этой части есть пометки Чаадаева (Каталог, Лб 325). Об этих же интересах Чаадаева в ранний период его творчества свидетельствует и фрагмент "Об архитектуре" (см. его в ОРМ и примеч. к нему). Позднее этот интерес не исчез, о чем свидетельствует переписка Чаадаева с бароном Д'Экштейном (Письма. Лб 74 и коммент. к нему, а также вступительную заметку к первой публикации этого письма: Чемерисская М. Р. Письмо П. Я. Чаадаева об индийской философии//Народы Азии и Африки. 1986. Лб 5. Следует отметить, что работы Геерена по гражданской истории и истории искусств пользовались популярностью в 20 — 30-е годы XIX в., что могло питать Чаадаева сведениями и соображениями по этому поводу. Так, еще до того, как Чаадаев приступил к написанию ФП, Геереном заинтересовался Д. В. Веневитинов (с которым Чаадаев мог быть знаком по совместному слушанию чтения автором драмы "Борис Годунов" в Москве в 1826 г.). В 1827 г. тяготевший к кружку Любомудров, в который входил Д. В. Веневитинов, Н. М. Рожалин напечатал в "Московском Вестнике" за 1827 г. два перевода из Геерена — в кн. I (с. 304 - 321) о Рамайяне, в кн. IV (с. 394 — 407) о Махабхарате. Веневитинов перевел "Общие предварительные замечания" к 3му т. указанной книги Геерена под названием "Европа" (см.: Веневитинов Д., Стихотворения. Проза. М., 1980. С. 170 — 181). Часть книги Геерена была переведена под названием "Руководство к истории политических учений" (СПб., 1832 - 4834), М. П. Погодин напечатал "Лекции... по Геерену" (М., 1835 - 1836). На "Идеи" Геерена в самом начале 30-х годов опирался при характеристике искусства Древней Индии Н. И. Надеждин, читавший в это время курс истории искусства в Московском университете. Он отмечал, что "руководства этой части (т.е. истории искусства в Индии. — З. К.)... в то время на русском языке не было, да и ныне (в 1854 г.) нет. Я прибегнул к единственно. тогда бывшим у меня под рукой источникам: Геерену, к его "Идеям"" (цит. по: Каменский З. А. Н. И. Надеждин. М., 1984. С. 175). Это показывает, что Чаадаев в этих вопросах стоял на уровне тогдашней науки в ее

новаторском для того времени направлении, которое возглавлял Н. И. Надеждин. О Геерене см.: Бузескул В. П. Из истории критического метода. Л., 1927.